



Татьяна Толстая

„На золотом
крыльце сидели...“



Татьяна Толстая • „На золотом крыльце сидели...“



Татьяна Толстая

„На золотом крыльце сидели...“

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 84Р7
Т 52

Т $\frac{4702010200-097}{078(02)-87}$ 135-87

ЛЮБИШЬ — НЕ ЛЮБИШЬ

— Другие дети гуляют одни, а мы почему-то с Марьиванной!

— Вот когда тебе стукнет семь лет, тогда и будешь гулять одна. И нельзя говорить про пожилого человека «противная». Вы должны быть благодарны Марье Иванне, что она проводит с вами время.

— Да она нарочно не хочет за нами следить! И мы обязательно попадем под машину! И она в скверике знакомится со всеми старухами и жалуется на нас. И говорит: «дух противоречия».

— Но ведь ты действительно все делаешь ей назло!

— И буду делать! И нарочно буду говорить этим дурацким старухам «не здрасьте» и «будьте нездоровы».

— Да как тебе не стыдно! Надо уважать стареньких! И не грубить им, а прислушиваться, что они тебе скажут: они старше и больше тебя знают.

— Я прислушиваюсь! А Марьиванна только и говорит что про своего дядю.

— Ну и что же она про него говорит?

— Что он повесился от болезни мочевого пузыря! А еще до этого его переехало колесом фортуны! Потому что он запутался в долгах и неправильно переходил улицу!

...Маленькая, тучная, с одышкой Марьиванна ненавидит нас, а мы ее. Ненавидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики «песочное кольцо», которыми она кормит голубей, и нарочно топаем на этих голубей ботами, чтобы их распугать. Марьиванна гуляет с нами каждый день по четыре часа, читает нам книжки и пытается разговаривать по-французски — для этого, в общем-то, ее и пригласили. Потому что наша собственная, дорогая, любимая няня Груша, которая живет с нами, никаких иностранных языков не знает, и на улицу давно уже не выходит, и двигается с трудом. Пушкин ее тоже очень любил и писал про нее: «Голубка дряхлая моя!»

А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: «Свинюшка толстая моя!»

Но вот что удивительно — просто невозможно поверить — но Марьиванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки! Эту девочку, Катю, Марьиванна вспоминает каждый день. Она не высовывала язык, не ковыряла в носу, доедала все до конца, обнимала и целовала Марьиванну — непормальная!

Вечером, лежа в постелях, мы с сестрой придумываем разговоры Марьиванны и послушной Кати:

— Доешь червяков до конца, дорогая Катюша!

— С удовольствием, ненаглядная Марьиванна!

— Скушай маринованную лягушку, деточка!

— Я уже скушала! Положите мне еще пюре из дохлых мышей, пожалуйста!..

В скверике, который Марьиванна называет «бульваром», бледные ленинградские девочки копаются в потемневшем осеннем песке, прислушиваясь к взрослым разговорам. Марьиванна, быстро познакомившись с какой-нибудь старушенцией в шляпке, вынимает из ридикюля твердые старинные фотографии: она и дядя прислонились к роялю, а сзади — водопад. Неужели в недрах этой задыхающейся туши погребено вон то белое воздушное существо в кружевных перчатках? «Он заменил мне отца и мать и хотел, чтобы я называла его просто Жорж. Он дал мне образование, он впервые вывез меня в свет. Вот эти жемчуга — здесь плохо видно — это его подарок. Он безумно, безумно меня любил. Видите, какой он тут представительный? А вот тут мы в Пятигорске. Это моя подруга Юлия. А здесь мы пьем чай в саду». — «Чудные снимки. А это тоже Юлия?» — «Нет, это Зинаида. Это подруга Жоржа. Она-то его и разорила. Он был игрок». — «Ах, вон что». — «Да. Выбросить бы этот снимок, да рука не поднимается. Ведь это все, что от него осталось. И стихи — он был поэт». — «Что вы говорите!» — «Да, да, чудный поэт. Сейчас таких нет. Такой романтичный, немного мистик...»

Старушенция, балда, развесила уши, мечтательно улыбается, смотрит на меня. А нечего глазеть-то! Я показываю ей язык. Марьиванна, от стыда прикрыв глаза, шепчет с ненавистью: «Жуткое существо!» А вечером опять будет читать мне дядины стихи:

— Няня, кто так громко вскрикнул,
За окошком промелькнул,
На крылечке дверью скрипнул,
Под кроваткою вздохнул?

— Спи, усни, не знай печали,
Бог хранит тебя, дитя,
Это вороны кричали,
Стаей к кладбищу летя.

— Няня, кто свечи коснулся,
Кто скребется там, в углу,
Кто от двери протянулся
Черной тенью на полу?

— Спи, дитя, не ведай страха,
Дверь крепка, высок забор,
Не минует вора плаха,
Прозвенит в ночи топор.

— Няня, кто мне в спину дышит,
Кто, невидимый, ко мне
Подбирается все выше
По измятой простыне?

— О дитя, что хмуришь бровки,
Вытри глазки и не плачь.
Крепко стянуты веревки,
Знает ремесло палач.

Ну-ка, кто после таких стихов найдет в себе силы спустить ноги с кровати, чтобы, скажем, сесть на горшок!

Под кроватью, ближе к стене — всем известно — лежит Змей: в шнурованных ботинках, кепке, перчатках, мотоциклетных очках, а в руке — крюк. Днем Змея нет, а к ночи он сгущается из сумеречного вещества и тихо-тихо ждет: кто посмеет свесить ногу? И сразу — хватъ крюком! Вряд ли съест, но затащит и пропихнет под плинтус, и бесконечно будет падение вниз, под пол, между пыльных переборок. Комнату сторожат и другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный С у х о й, слабый, но страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За отставшими обоями — Индрик и Хиздрик — один зеленоватый, другой серый, оба быстро бегающие, многоногие. А еще в углу, на полу — квадратик медной резной решетки, а под ним черный провал — «вентиляция». К ней и днем-то подходит опасно: из глубины пристально, не мигая, смотрят Глаза. Да, но самый-то страшный — тот безымянный, что всегда за спиной, почти касается волос (дядя свидетель!). Много раз он приноравливается схватить, но как-то все упускает момент и медленно, с досадой опускает бесплотные руки. Туго, с головой завернись в одеяло, пусть один нос торчит — спереди не нападают.

Напугав дядиными стихами, Марьиванна уходит ночевать к себе, в коммунальную квартиру, где, кроме нее, живут еще: Иранда Анатольевна с диабетом, и какая-то пыльная Соня, и Бадыловы, лишенные родительских прав, и повесившийся дядя... И завтра она придет опять, если мы не заболеем. А болеем мы часто.

Не раз и не два сорокаградусные гриппы закричат, застучат в уши, забьют в красные барабаны, обступят с восьми сторон и, бешено крутя, покажут кинофильм бреда, всегда один и тот же: деревянные соты заполняются трехзначными цифрами; числа больше, грохот громче, барабаны торопливей, — сейчас все ячейки будут заполнены, вот осталось совсем немного! вот еще чуть-чуть! сердце не выдержит, лопнет, — но отменили, отпустили, простили, соты убрали, пробежал с нехорошей улыбкой

круглый хлеб на тонких ножках по аэродромному полю — и затихло... только самолетки букашечными точками убегают по розовому небу и уносят в коготках черный плащ лихорадки. Обошлось.

Страхните мне крошки с простыни, остудите подушку, расправьте одеяло! чтобы ни одной складочки, иначе вернутся самолетки с коготками! Без мыслей, без желаний лежать на спине, в прохладе, в полутьме — полчаса передышки между двумя атаками барабанщиков. По потолку из угла в угол проходит светлый веер, и еще веер, и еще — автомобили уже зажгли фары, вечер сошел с высот, под дверь в соседнюю комнату просунули коврик света — там пьют чай, загорелся оранжевый абажур, и кто-нибудь из старших уже плетет из его бахромы недозволенные косички — «портит вещь». Пока самолетки не вернулись, можно, оставив среди чугунных простыней свою постукивающую жаром телесную оболочку, мысленно выскользнуть за дверь — длинная рубашка, холодные тапочки — подсесть невидимкой к столу — а эту чашку за неделю я забыла! — жмурясь, путешествовать взглядом по оранжевым горбам абажура. Абажур молодой, пугливый, он ко мне еще не привык — только недавно мы с папой купили его на барахолке.

Ах, сколько там было людей, сколько обладателей ватников и плюшевых жакетов, коричневых оренбургских платков! И все они горланили, и суетились, и трясли перед папиным лицом синими диагональными отрезами, и совали в нос крепкие черные валенки! Какие там были сокровища! А папа-то: все прошляпил, проворонил, ничего, кроме абажура, оттуда не унес. А надо было закупить всего-всего: и вазочек, и блюдец, и цветастых платков, и совиных чучел, и фарфоровых свиней, и ленточных ковриков! Пригодились бы и кошки-копилки, и дуделки, и свиристелки, и бумажные цветы — маки с чернильными ватками в сердцевинках, и бумажные красно-зеленые дрожащие жабо на двух палочках: вывернешь палочки — и затрясется бахромчатое непрочное кружево,

еще вывернешь — и схлопнулось в дудочку, и пропало. Мелькали изумительные клеенчатые картины: Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедей с золотыми коронами; он же что-то выделяет с конем... но папа тащит меня дальше, дальше, мимо инвалидов с леденцами, в абажурный ряд.

Мужик ухватывает папу за кожаный рукав:

— Хозяин, продай пальто!

Ай, да не приставайте к нам с глупостями, нам нужен абажур, нам вон туда, я верчу головой, мелькают венчики, корзинки, крашеные деревянные яйца, поросенок — не зевай, все, пошли назад. Где он? А, вот. Продираемся сквозь толпу назад, папа с абажуром, еще темным, молчаливым, но уже принятым в семью: теперь он наш, он свой, мы его полюбим. И он замер, ждет: куда-то его несут? Он еще не знает, что пройдет время — и он, некогда любимый, будет осмеян, низвергнут, сорван, сослан, а на его место с ликованием взлетит новая фаворитка: модная белая пятилопастная раскоряка. А потом, обиженный, изуродованный, преданный, он переживет последнее глумление: послужит кринолином в детском спектакле и навсегда канет в помоечное небытие. Стик транзит глориа мунди.

— Папа, купи вон то, пожалуйста!

— Что там такое?

Веселая обмотанная баба, радуясь покупателю, вертится на морозе, подпрыгивает, потапывает валенками, потряхивает отрубленной золотой косой толщиной в канат:

— Купите!

— Папа, купи!

— Ты с ума сошла?! Чужие волосы! И не трогай руками — там вши!

Фу-у-у, ужас какой! Я обмираю: действительно, огромные вши, каждая размером с воробья, с внимательными глазками, с мохнатыми лапками, с коготками, цеп-

ляются за простыню, лезут на одеяло, хлопают в ладони, все громче и громче... Опять загудел бред, закричал жар, завертелись огненные колеса — грипп!

...Темная городская зима, холодная струя воздуха из коридора — кто-нибудь из взрослых вносит на спине огромный полосатый мешок с дровами — растапливать круглую коричневую колонку в ванной. А ну марш из-под ног! Ура, сегодня купаться будем! Через ванну перекинута деревянная решетка; тяжелые облупленные тазы, кувшины с горячей водой, острый запах дегтярного мыла, распаренная сморщенная кожа на ладонях, запотевшее зеркало, духота, чистое наглаженное мелкое белье — и вжжжжж — бегом по холодному коридору, и плюх! — в новенькую постель: блаженство!

— Нянечка, спой песенку!

Няне Груше ужасно много лет. Она родилась в деревне, а потом воспитывалась у доброй графини. В ее седенькой голове хранятся тысячи рассказов о говорящих медведях, о синих змеях, которые по ночам лечат чахоточных людей, заползая через печную трубу, о Пушкине и Лермонтове. И она точно знает, что если съесть сырое тесто — улетишь. И когда ей было пять лет — как мне — царь послал ее с секретным пакетом к Ленину в Смольный. В пакете была записка: «Сдавайся!» А Ленин ответил: «Ни за что!» И выстрелил из пушки.

Няня поет:

*По камням струится Терек,
Плещет мутный ва-а-а-а-а...
Злой чечен ползет на берег,
То-очит свой кинжа-а-а-а-а...*

Колышется кисея на окне, из-за зимнего облака выходит грозно сияющая луна; из мутной Карповки выползает на обледенелый бережок черный чечен, мохнатый, блестит зубами...

Спи, моя радость, усни!

...Да, а французский с Марьиванной что-то не идет. Не отдать ли меня во французскую группу? Там и гуляют, и кормят, и играют в лото. Конечно, отдать! Ура! Но вечером француженка возвращает маме паршивую овцу:

— Мамочка, ваш ребенок совершенно не подготовлен. Она показывала язык другим детям, порвала картинки, и ее вырвало манной кашей. Приходите на следующий год. До свидания! О ревуар!

— Не досвидания! — выкрикиваю я, уволокиваемая за руку расстроенной мамой. — Ешьте сами вашу поганую кашу! Не ревуар!

(«Ах, так! А ну вышвыривайтесь отсюда! Забирайте вашего мерзкого гаденыша!» — «Не больно-то надо! Сами не очень-то воображайте, мадам!»)

— Извините, пожалуйста, с ней действительно очень трудно.

— Ничего, ничего, я понимаю!

Ну что за наказание с тобой!!!

...Возьмем цветные карандаши. Если послушать красный, он дает особенно гладкий, атласный цвет. Правда, ненадолго. Ну, на Марьиваннино лицо хватит. А тут — громадную бородавку. Отлично. Теперь синим: шар, шар, еще шар. И две тумбы. На голову — черный блин. В руки — сумочку, сумочки рисовать я умею. Вот и Марьиванна готова. Сидит на облупленной весенней скамеечке, галоши расставила, глаза закрыла, поет:

*Я ехала домо-о-ой...
Душа была полна-а-а...*

Вот и ехала бы ты себе домой! Вот и катилась бы колбаской к своей Катюшеньке.

«...Жорж всегда брал мне халву у Абрикосова — помните?» — «Да, да, да, ну как же...» — «Все было так изящно, деликатно...» — «Не говорите...» — «А сейчас... Вот эти: думала, интеллигентные люди! А они хлеб ре-

жут вот такими ломтями!» — «Да, да, да... А я...» — «Я мамочке, покойнице, всегда только «вы» говорила. Вы, мамочка... Уважение было. А это, что же: ладно — я, чужой человек, но к родителям, к родителям своим — ну никакого... А за столом лезут вот так! вот так! и руками, руками!»

Господи! Долго ли нам еще терпеть друг друга?

А потом скверик закрывают на просушку. И мы просто ходим по улицам. И вот однажды вдруг какая-то худая высокая девочка — белый такой комар — с криком бросается на шею к Марьиванне, и плачет, и гладит ее трясущееся красное лицо!

— Нянечка моя! Это нянечка моя!

И — смотрите — эта туша, залившись слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они — чужие! — вот тут, прямо у меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви!

— Это нянечка моя!

Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьиванна! Вон же, вон у нее бородавка! Это наша, наша Марьиванна, наше посмешище: глупая, старая, толстая, нелепая!

Но разве любовь об этом знает?

...Проходи, проходи, девочка! Нечего тут!.. Распустила нюни... Я тащусь, озлобленная и усталая. Я гораздо лучше той девочки! А меня-то Марьиванна так не любит. Мир несправедлив. Мир устроен наизуоборот! Я ничего не понимаю! Я хочу домой! А Марьиванна просветленно смотрит, цепко держит меня за руку и пыхтит себе дальше, вперед.

— У меня но-ожки устали!

— Сейчас кружочек обойдем и домой... Сейчас, сейчас...

Незнакомые места. Вечереет. Светлый воздух весь ушел вверх и повис над домами; темный — вышел и встал в подворотнях, в подъездах, в провалах улиц. Час тоски для взрослых, тоски и страха для детей. Я одна

на всем свете, меня потеряла мама, сейчас, сейчас мы заблудимсяаааааа! Меня охватывает паника, и я крепко вцепляюсь в холодную руку Марьиванны.

— Вот в этом подъезде я живу. Во-он там мое окно — второе от угла.

Под каждым окном нахмурили брови, разинули рты — съедят! — головы без туловища. Головы страшные, и сырая тьма подъезда — жуткая, и Марьиванна — не родная. Высоко, в окне, приплюснув нос к темному стеклу, брезжит повешенный дядя, водит по стеклу руками, всматривается. Сгинь, дядя!! Выползешь ночью из Карповки злым чеченом, оскалишься под луной — а глаза закатились — быстро-быстро побежишь на четвереньках через булыжную мостовую, через двор в парадную, в тяжелую глухую тьму, голыми руками по ледяным ступеням, по квадратной лестничной спирали, выше, выше, к нашей двери...

Скорей, скорей домой! К нянечке! О нянечка Груша! Дорогая! Скорее к тебе! Я забыла твое лицо! Прижмусь к темному подолу, и пусть твои теплые старенькие руки отогреют мое замерзшее, заблудившееся, запутавшееся сердце!

Нянечка разматывает мой шарф, отстегнет вшившуюся пуговку, уведет в пещерное тепло детской, где красный ночник, где мягкие горы кроватей, и закапают горькие детские слезы в голубую тарелку с зазнавшейся гречневой кашей, которая сама себя хвалит. И, видя это, нянечка заплачет и сама, и подсядет, и обнимет, и не спросит, и поймет сердцем, как понимает зверь — зверя, старик — дитя, бессловесная тварь — своего собрата.

Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, немелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд — а слов не дал: украл речь, запечатал рот, наложил железные засовы, выбросил ключи!

Марьиванна, напившись чаю, повеселевшая, заходит

в детскую сказать спокойной ночи. Отчего это ребенок так плачет? Ну-ну-ну. Что случилось? Порезалась?.. Живот болит?.. Наказали?..

(Нет, нет, не то, не то! Молчи, не понимаешь! Просто в голубой тарелке, на дне, гуси-лебеди вот-вот схватят бегущих детей, а ручки у девочки облупились, и ей нечем прикрыть голову, нечем удержать братика!)

— Ну-ка, вытри слезы, стыдно, такая большая! Доедай-ка все до конца! А я тебе стихи читаю!

Толкнув под локоть Марьяванну, приподняв цилиндр, прищурившись, вперед выходит дядя Жорж:

*Не белые тюльпаны
В венчальных кружевах —
То пена океана
На дальних островах.*

*Поскрипывают снасти
Над старою кормой.
Неслыханное счастье
За пенною каймой.*

*Не черные тюльпаны —
То женщины в ночи.
Полуденные страны
И в полночь горячи!*

*Выкатывайте бочку!
Туземки хороши!
Мы ждали эту ночку —
Гуляйте от души!*

*Не алые тюльпаны
Расплылись на груди, --
В камзоле капитана
Три дырки впереди;*

*Веселые матросы
Оскаллились на дне...
Красивы были косы
У женщин в той стране.*

«Страсти какие ребенку на ночь...» — ворчит няня.

Дядя поклонился и исчез. Марьиванна закрывает за собой дверь: до завтра, до завтра!

Уйдите все, оставьте меня, вы ничего не понимаете!

В груди вертится колючий шар, и невысказанные слова пузырятся на губах, размазываются слезами. Кивает красный ночник. Да у нее жар! — кричит кто-то из далекого далека, но ему не перекричать шума крыльев — гуси-лебеди обрушились с грохочущего неба!

...Дверь на кухню закрыта. Солнце пробивается сквозь матовое стекло. Полдень облил золотом паркет. Тишина. За дверью Марьиванна, плача, жалуется на нас:

— Больше так не могу! Что ж это — день изо дня все хуже... Все поперек, все назло... Я трудную жизнь прожила, все по чужим людям, всякое, конечно, отношение было... Нет, условия — я не говорю, условия хорошие, но в моем возрасте... и здоровье... откуда такой дух противоречия, и враждебность... хотела немножко поэзии, возвышенного... Бесполезно... больше не выдерживаю...

Она от нас уходит!

Марьиванна уходит от нас. Марьиванна сморкается в крошечный платочек. Пудрит красный нос, глубоко вглядывается в зеркало, медлит, будто что-то ищет в его недоступной, запечатанной вселенной. И правда, там, в сумрачных глубинах, шевелятся забытые занавеси, колеблется пламя свечи, выходит бледный дядя в черном, с листком в руках:

*Принцесса-роза жить устала
И на закате опочила.
Вином из смертного фиала
Печально губы омочила.*

*И принц застыл как изваяние,
В глухом бессилье властелина,
И свита шепчет с состраданием,
Как опочившая невинна.*

*Порфироносные родители
Через герольдов известили,
Чтоб опечаленные жители
На башнях флаги опустили.*

*Я в похоронную процессию
Вливаюсь траурною скрипкою,
Нарциссы в гроб кладу принцессе я
С меланхолической улыбкою.*

*И, притворяясь опечаленным,
Глаза потуплю, чтоб не выдали:
Какое ждет меня венчание!
Такого вы еще не видели.*

Смертной белой кисеей затягивают люстры, черной — зеркала. Марьиванна опускает густую вуальку на лицо, дрожащими руками собирает развалины сумочки, поворачивается и уходит, шаркая разбитыми туфлями, за порог, за предел, навсегда из нашей жизни.

Весна еще слаба, но снег сошел, только в каменных углах лежат последние черные корки. А на солнышке уже тепло.

Прощай, Марьиванна!

У нас впереди лето.

РЕКА ОККЕРВИЛЬ

Когда знак зодиака менялся на Скорпиона, становилось совсем уж ветрено, темно и дождливо. Мокрый, струящийся, бьющий ветром в стекла город за беззащитным, незанавешенным, холостяцким окном, за припрятанными в межоконном холоду плавленными сырками казался тогда злым петровским умыслом, местью огромного, пучеглазого, с разинутой пастью, зубастого царя-плотника, все догоняющего в ночных кошмарах, с корабельным топориком в занесенной длани, своих слабых, перепуганных подданных. Реки, добежав до вздутого, устрашающего моря, бросались вспять, шипящим напором отщелкивали чугунные люки и быстро поднимали водяные спины в музейных подвалах, облизывая хрупкие, разваливающиеся сырым песком коллекции, шаманские маски из петушиных перьев, кривые заморские мечи, шитые бисером халаты, жилистые ноги злых, разбуженных среди ночи сотрудников. В такие-то дни, когда из дождя, мрака, прогибающего стекла ветра вырисовывался белый творожистый лик одиночества, Симеонов, чувствуя себя особенно носатым, лысеющим, особенно ощущая свои нестарые года вокруг лица и дешевые носки далеко внизу, на границе существования, ставил чайник, стирал рукавом пыль со стола, расчищал от книг, высунувших белые язычки закладок, пространство, устанавливал граммофон, подбирая нужную по толщине книгу, чтобы подсунуть под хромой его уголок, и заранее, авансом блаженствуя, извлекал из рваного, пятнами желтизны пошедшего конверта Веру Васильевну — старый, тяжелый, антрацитом отливающий круг, не расщепленный гладкими концентрическими окружностями — с каждой стороны по одному романсу.

— Нет, не тебя! так пылко! я! люблю! — подскакивая, потрескивая и шипя, быстро вертелась под иглой Вера Васильевна; шипение, треск и кружение завивались черной воронкой, расширялись граммофонной трубой, и,



торжествуя победу над Симеоновым, неся из фестоича-
той орхидеи божественный, темный, низкий, сначала
кружевной и пыльный, потом набухающий подводным на-
пором, восстающий из глубин, преображающийся, огня-
ми на воде колыхающийся, — пщ-пщ-пщ, пщ-пщ-пщ, —
парусом надувающийся голос — все громче, — обрываю-
щий канаты, неудержимо несущийся, пщ-пщ-пщ, кара-
веллой по брызжащей огнями ночной воде — все силь-
ней, — расправляющий крылья, набирающий скорость,
плавно отрывающийся от отставшей толщи породившего
его потока, от маленького, оставшегося на берегу Сimeo-
нова, задрывшего лысеющую, босую голову к гигантски
выросшему, сияющему, затмевающему полнеба, исходя-
щему в победоносном кличе голосу, — нет, не его так
пылко любила Вера Васильевна, а все-таки, в сущности,
только его одного, и это у них было взаимно.
X-щ-щ-щ-щ-щ-щ-щ.

Симеонов бережно снимал замолкшую Веру Васильев-
ну, покачивал диск, обхватив его распрямленными, ува-
жительными ладонями; рассматривал старинную наклей-
ку: э-эх, где вы теперь, Вера Васильевна? Где теперь ва-
ши белые косточки? И, перевернув ее на спину, устанавли-
вал иглу, прищуриваясь на черносливые отблески
колыхающегося толстого диска, и снова слушал, томясь,
об отцветших давно, щщщ, хризантемах в саду, щщщ, где
они с нею встретились, и вновь, нарастая подводным по-
током, сбрасывая пыль, кружева и годы, потрескивала
Вера Васильевна и представляла томной наядой — не-
спортивной, слегка полной наядой начала века — о слад-
кая груша, гитара, покатаая шампанская бутылка!

А тут и чайник закипал, и Симеонов, выудив из меж-
оконья плавленый сыр или ветчинные обрезки, ставил
пластинку с начала и пировал по-холостяцки, на рассте-
ленной газете, наслаждался, радуясь, что Тамара сегодня
его не настигнет, не потревожит драгоценного свидания с
Верой Васильевной. Хорошо ему было в его одиночестве,
в маленькой квартирке, с Верой Васильевной наедине, и

дверь крепко заперта от Тамары, и чай крепкий и сладкий, и почти уже закончен перевод ненужной книги с редкого языка — будут деньги, и Симеонов купит у одного крокодила за большую цену редкую пластинку, где Вера Васильевна тоскует, что не для нее придет весна, — романс мужской, романс одиночества, и бесплотная Вера Васильевна будет петь его, сливаясь с Симеоновым в один тоскующий, надрывный голос. О блаженное одиночество! Одиночество ест со сковородки, выуживает холодную котлету из помутневшей литровой банки, заваривает чай в кружке — ну и что? Покой и воля! Семья же бренчит посудным шкафом, расставляет западнями чашки да блюда, ловит душу ножом и вилкой, — ухватывает под ребра с двух сторон, — душит ее колпаком для чайника, набрасывает скатерть на голову, но вольная одинокая душа выскальзывает из-под льняной бахромы, проходит ужом сквозь салфеточное кольцо и — хоп! лови-ка! — она уже там, в темном, огнями наполненном магическом кругу, очерченном голосом Веры Васильевны, она выбегает за Верой Васильевной, вслед за ее юбками и веером, из светлого танцующего зала на ночной летний балкон, на просторный полукруг над благоухающим хризантемами садом, впрочем, их запах, белый, сухой и горький — это осенний запах, он уже заранее предвещает осень, разлуку, забвение, но любовь все живет в моем сердце больном, — это больной запах, запах прели и грусти, где-то вы теперь, Вера Васильевна, может быть, в Париже или Шанхае, и какой дождь — голубой парижский или желтый китайский — моросит над вашей могилой, и чья земля студит ваши белые кости? Нет, не тебя так пылко я люблю! (Рассказывайте! Конечно же, меня, Вера Васильевна!)

Мимо симеоновского окна проходили трамваи, когда-то покрякивавшие звонками, покачивавшие всяческими петлями, похожими на стремена, — Симеонову все казалось, что там, в потолках, спрятаны кони, словно портреты трамвайных прадедов, вынесенные на чердак; по-

том звонки умолкли, слышатся только перестук, лязг и скрежет на повороте, наконец, краснобокие твердые вагоны с деревянными лавками поумиралли, и стали ходить вагоны округлые, бесшумные, шипящие на остановках, можно было сесть, плюхнуться на охнувшее, испускающее под тобой дух мягкое кресло и покатить в голубую даль, до конечной остановки, маившей названием: «Река Оккервиль». Но Симеонов туда никогда не ездил. Край света, и нечего там ему было делать, но не в том даже дело: не видя, не зная дальней этой, почти не ленинградской уже речки, можно было вообразить себе все, что угодно: мутный зеленоватый поток, например, с медленным, мутно плывущим в нем зеленым солнцем, серебряные ивы, тихо свесившие ветви с курчавого бережка, красные кирпичные двухэтажные домики с черепичными крышами, деревянные горбатые мостики — тихий, замедленный как во сне мир; а ведь на самом деле там наверняка же склады, заборы, какая-нибудь гадкая фабричонка выплевывает перламутрово-ядовитые отходы, свалка дымится вонючим тлеющим дымом, или что-нибудь еще, безнадежное, окраинное, пошлое. Нет, не надо разочаровываться, ездить на речку Оккервиль, лучше мысленно обсадить ее берега длинноволосыми ивами, расставить крутоверхие домики, пустить неторопливых жителей, может быть, в немецких колпаках, в полосатых чулках, с длинными фарфоровыми трубками в зубах... а лучше замостить брусчаткой оккервильские набережные, реку наполнить чистой серой водой, навести мосты с башенками и цепями, выровнять плавным лекалом гранитные парапеты, поставить вдоль набережной высокие серые дома с чугунными решетками подворотен — пусть верх ворот будет как рыба чешуя, а с кованых балконов выглядывают настурции, поселить там молодую Веру Васильевну, и пусть идет она, натягивая длинную перчатку, по брусчатой мостовой, узко ставя ноги, узко переступая черными тупоносими туфлями с круглыми, как яблоко, каблуками, в маленькой круглой шляпке с вуаль-

кой, сквозь припихшую морось петербургского утра, в туман по такому случаю подать голубой.

Подать голубой туман! Туман подан, Вера Васильевна проходит, постукивая круглыми каблуками, весь специально приготовленный, удерживаемый симеоновским воображением мощный отрезок, вот и граница декорации, у режиссера кончились средства, он обессилен, и, усталый, он распускает актеров, перечеркивает балконы с настурциями, отдает желающим решетку с узором как рыба чешуя, сощелкивает в воду гранитные парапеты, рассовывает по карманам мосты с башенками, — карманы распирает, висят цепочки, как от дедовских часов, и только река Оккервиль, судорожно сужаясь и расширяясь, течет и никак не может выбрать себе устойчивого облика.

Симеонов ел плавленые сырки, переводил нудные книги, вечерами иногда приводил женщины, а наутро, разочарованный, выпроваживал их — нет, не тебя! — заперся от Тамары, все подступавшей с постирушками, жареной картошкой, цветастыми занавесочками на окна, все время тщательно забывавшей у Симеонова важные вещи, то шпильки, то носовой платок, — к ночи они становились ей срочно нужны, и она приезжала за ними через весь город, — Симеонов тушил свет и не дыша стоял, прижавшись к притолоке — в прихожей, пока она ломилась, и очень часто сдавался, и тогда ел на ужин горячее и пил из синей с золотом чашки крепкий чай с домашним напудренным хворостом, а Тамаре ехать назад было, конечно, поздно, последний трамвай ушел, и до туманной речки Оккервиль ему уж тем более было не доехать, и Тамара взбивала подушки, пока Вера Васильевна, повернувшись спиной, не слушая оправданий Симеонова, уходила по набережной в ночь, покачиваясь на круглых, как яблоко, каблуках.

Осень сгущалась, когда он покупал у очередного крокодила тяжелый, сколотый с одного краешка диск, — потрговались, споря об изъяне, цена была очень уж высо-

ка, а почему? — потому что забыта напрочь Вера Васильевна, ни по радио не прозвучит, ни в викторинах не промелькнет короткая, нежная ее фамилия, и теперь только изысканные чудаки, снобы, любители, эстеты, которым охота выбрасывать деньги на бесплотное, гоняются за ее пластинками, ловят, нанизывают на штыри граммофонных вертушек, переписывают на магнитофоны ее низкий, темный, сияющий, как красное дорогое вино, голос. А ведь старуха еще жива, сказал крокодил, живет где-то в Ленинграде, в бедности, говорят, и безобразии, и недолго же сияла она и в свое-то время, потеряла бриллианты, мужа, квартиру, сына, двух любовников, и, наконец, голос, — в таком вот именно порядке, и успела с этими своими потерями уложиться до тридцатилетнего возраста, с тех пор и не поет, однако живехонька. Вот как, думал, отяжелев сердцем, Симеонов, и по пути домой, через мосты и сады, через трамвайные пути, все думал: вот как... И, заперев дверь, заварив чаю, поставил на вертушку купленное выщербленное сокровище и, глядя в окно на стягивающиеся на закатной стороне тяжелые цветные тучи, выстроил, как обычно, кусок гранитной набережной, перекинул мост, — и башенки нынче отяжелели, и цепи были неподъемно чугуны, и ветер рябил и морщил, волновал широкую, серую гладь реки Оккервиль, и Вера Васильевна, спотыкаясь больше положенного на своих неудобных, придуманных Симеоновым, каблуках, заламывала руки и склоняла маленькую гладко причесанную головку к покатоному плечу, — тихо, так тихо светит луна, а дума тобой роковая полна, — луна не поддавалась, мылом выскальзывала из рук, неслась сквозь рваные оккервильские тучи, — на этом Оккервиле всегда что-то тревожное с небом, — как беспокойно мечутся прозрачные, прирученные тени нашего воображения, когда сопение и запахи живой жизни проникают в их прохладный, туманный мир!

Глядя на закатные реки, откуда брала начало и река Оккервиль, уже зацветавшая ядовитой зеленью, уже от-

равленная живым старушечьим дыханием. Симеонов слушал спорящие голоса двух борющихся демонов: один настаивал выбросить старуху из головы, запереть покрепче двери, изредка приоткрывая их для Тамары, жить, как и раньше жил, в меру любя, в меру томясь, внимая в минуты одиночества чистому звуку серебряной трубы, поющему над неведомой туманной рекой, другой же демон — безумный юноша с помраченным от перевода дурных книг сознанием — требовал идти, бежать, разыскать Веру Васильевну — подслеповатую, бедную, исхудавшую, сиплую, сухоногую старуху, разыскать, склониться к ее почти оглохшему уху и крикнуть ей через годы и невзгоды, что она — одна-единственная, что ее, только ее так пылко любил он всегда, что любовь все живет в его сердце больном, что она, дивная пери, поднимаясь голосом из подводных глубин, наполняя паруса, стремительно проносясь по ночным огнистым водам, взмывая ввысь, затмевая полнеба, разрушила и подняла его — Симеонова, верного рыцаря, — и, раздавленные ее серебряным голосом, мелким горохом посыпались в разные стороны трамваи, книги, плавленные сырки, мокрые мостовые, птичьи крики, Тамары, чашки, безымянные женщины, уходящие года, вся брэнность мира. И старуха, обомлев, взглянет на него полными слез глазами: как? вы знаете меня? не может быть! боже мой! неужели это кому-нибудь еще нужно! и могла ли я думать! — и, растерявшись, не будет знать, куда и посадить Симеонова, а он, бережно поддерживая ее сухой локоть и целуя уже не белую, всю в старческих пятнах руку, проводит ее к креслу, вглядываясь в ее увядшее, старинной лепки лицо. И, с нежностью и с жалостью глядя на проруб в ее слабых белых волосах, будет думать: о, как мы разминулись в этом мире! Как безумно пролегло между нами время! («Фу, не надо», — кривился внутренний демон, но Симеонов склонялся к тому, что надо.)

Он буднично, оскорбительно просто — за пятак — до-

был адрес Веры Васильевны в уличной адресной будке; сердце стукнуло было: не Оккервиль? конечно, нет. И не набережная. Он купил хризантем на рынке — мелких, желтых, обернутых в целлофан. Отцвели уж давно. И в булочной выбрал тортик. Продащица, сняв картонную крышку, показала выбранное на отведенной руке: годится? — но Симеонов не осознал, что берет, отпрянул, потому что за окном булочной мелькнула — или показалось? — Тамара, шедшая брать его на квартире, тепленького. Потом уж в трамвае развязал покупку, поинтересовался. Ну, ничего. Фруктовый. Прилично. Под стеклянистой железной гладью по углам спали одинокие фрукты: там яблочный ломтик, там — уголок подоже — ломтик персика, здесь застыла в вечной мерзлоте половинка сливы, и тут — уголок шаловливый, дамский, с тремя вишенками. Бока присыпаны мелкой кондитерской перхотью. Трамвай тряхнуло, тортик дрогнул, и Симеонов увидел на отливавшей водным зеркалом железной поверхности явственный отпечаток большого пальца — нерадивого ли повара, неуклюжей ли продавщицы. Ничего, старуха плохо видит. И я сразу нарежу. («Вернись, — печально качал головой демон-хранитель, — беги, спасайся».) Симеонов завязал опять, как сумел, стал смотреть на закат. Узким ручьем шумел (шумела? шумело?) Оккервиль, бился в гранитные берега, берега крошились, как песчаные, оползали в воду. У дома Веры Васильевны он постоял, перекладывая подарки из руки в руку. Ворота, в которые предстояло ему войти, были украшены поверху рыбьей узорной чешуей. За ними страшный двор. Кошка шмыгнула. Да, так он и думал. Великая забытая артистка должна жить вот именно в таком дворе. Черный ход, помойные ведра, узкие чугунные перильца, нечистота. Сердце билось. Отцвели уж давно. В моем сердце больно.

Он позвонил. («Дурак», — плюнул внутренний демон и оставил Симеонова.) Дверь распахнулась под напором шума, пения и хохота, хлынувшего из недр

жилья, и сразу же мелькнула Вера Васильевна, белая, огромная, нарумяненная, черно- и густобровая, мелькнула там, за накрытым столом, в освещенном проеме, над грудой остро, до дверей пахнущих закусок, над огромным шоколадным тортом, увенчанным шоколадным зайцем, громко хохочущая, раскатисто смеющаяся, мелькнула — и была отобрана судьбой навсегда. И надо было поворачиваться и уходить. Пятнадцать человек за столом хохотали, глядя ей в рот: у Веры Васильевны был день рождения, Вера Васильевна рассказывала, задыхаясь от смеха, анекдот. Она начала его рассказывать, еще когда Симеонов поднимался по лестнице, она изменяла ему с этими пятнадцатью, еще когда он маялся и мялся у ворот, перекладывая дефектный торт из руки в руку, еще когда он ехал в трамвае, еще когда запирался в квартире и расчищал на пыльном столе пространство для ее серебряного голоса, еще когда впервые с любопытством достал из пожелтевшего рваного конверта тяжелый, черный, отливающий лунной дорожкой диск, еще когда никакого Симеонова не было на свете, лишь ветер шевелил траву и в мире стояла тишина. Она не ждала его, худая, у стрельчатого окна, вглядываясь в даль, в стеклянные струи реки Оккервиль, она хохотала низким голосом над громоздящимся посудой столом, над салатами, огурцами, рыбой и бутылками, и лихо же пила, чаровница, и лихо же поворачивалась туда-сюда тучным телом. Она предала его. Или это он предал Веру Васильевну? Теперь поздно было разбираться.

— Еще один! — со смехом крикнул кто-то, по фамилии, как выяснилось тут же, Поцелуев. — Штрафную! — И торт с отпечатком, и цветы отобрали у Симеонова, и втиснули его за стол, заставив выпить за здоровье Веры Васильевны, здоровье, которого, как он убеждался с неприязнью, ей просто некуда было девать. Симеонов сидел, машинально улыбался, кивал головой, цеплял вилкой соленый помидор, смотрел, как и все, на Веру Васильевну, выслушивал ее громкие шутки — жизнь

его была раздавлена. переехана пополам; сам дурак, теперь ничего не вернешь, даже если бежать; волшебную диву умыкнули горынычи, да она и сама с удовольствием дала себя умыкнуть. наплевала на обещанного судьбой прекрасного, грустного, лысоватого принца, не пожелала расслышать его шагов в шуме дождя и вое ветра за осенними стеклами, не пожелала спать, уколота волшебным веретеном, заколдованная на сто лет, окружила себя смертными, съедобными людьми, приблизила к себе страшного этого Поделуева — особо, интимно приближенного самым звучанием его фамилии, — и Симеонов топтал серые высокие дома на реке Оккервиль, крушил мосты с башенками и швырял цепи, засыпал мусором светлые серые воды, но река вновь пробивала себе русло, а дома упрямо вставали из развалин, и по лесокрушимым мостам скакали экипажи, запряженные парой гнедых.

— Курить есть? — спросил Поделуев. — Я бросил, так с собой не ношу. — И обчистил Симеонова на полпачки. — Вы кто? Поклонник-любитель? Это хорошо. Квартира своя? Ванна есть? Гут. А то тут общая только. Будете возить ее к себе мыться. Она мыться любит. По первым числам собираемся, записи слушаем. У вас что есть? «Темно-зеленый изумруд» есть? Жаль. Который год ищем, прямо несчастье какое-то. Ну нигде буквально. А эти ваши широко тиражировались, это неинтересно. Вы «Изумруд» ищите. У вас связей нет колбасы копченой доставать? Нет, ей вредно, это я так... себе. Вы цветов помельче принести не могли, что ли? Я вот розы принес, вот с мой кулак буквально. — Поделуев близко показал волосатый кулак. — Вы не журналист, нет? Передачку бы про нее по радио, все просится Верунчик-то наш. У, морда. Голосина до сих пор как у дьякона. Дайте ваш адрес запишу. — И, придавив Симеонова большой рукой к стулу, — сидите, сидите, не провожайте, — Поделуев выбрался и ушел, прихватив с собой симеоновский тортик с дактилоскопической отметиной.

Чужие люди вмиг населили туманные оккервильские

берега, тащили свой пахнувший давнишним жильем скарб — кастрюльки и матрасы, ведра и рыжих котов, на гранитной набережной было не протиснуться, тут и пели уже свое, выметали мусор на уложенную Симеоновым брусчатку, рожали, размножались, ходили друг к другу в гости, толстая чернобровая старуха толкнула, уронила бледную тень с покатыми плечами, наступила, раздавив, на шляпку с вуалькой, хрустнуло под ногами, покатались в разные стороны круглые старинные каблуки, Вера Васильевна крикнула через стол: «Грибков передайте!» и Симеонов передал, и она поела грибков.

Он смотрел, как шевелится ее большой нос и усы под носом, как переводит она с лица на лицо большие, черные, схваченные старческой мутью глаза, тут кто-то включил магнитофон, и поплыл ее серебряный голос, набирая силу, — ничего, ничего, — думал Симеонов. Сейчас доберусь до дому, ничего. Вера Васильевна умерла, давным-давно умерла, убита, расчленена и съедена этой старухой, и косточки уже обсосаны, я справил бы поминки, но Поцелуев унес мой торт, ничего, вот хризантемы на могилу, сухие, больные, мертвые цветы, очень к месту, я почтил память покойной, можно встать и уйти.

У дверей симеоновской квартиры маялась Тамара — родная! — она подхватила его, внесла, умыла, раздела и накормила горячим. Он пообещал Тамаре жениться, но под утро, во сне, пришла Вера Васильевна, плюнула ему в лицо, обозвала и ушла по сырой набережной в ночь, покачиваясь на выдуманных черных каблуках. А с утра в дверь трезвонил и стучал Поцелуев, пришедший осматривать ванную, готовить на вечер. И вечером он привез Веру Васильевну к Симеонову помыться, курил симеоновские папиросы, налегал на бутерброды, говорил: «Да-а-а... Верунчик — это сила! Сколько мужиков в свое время ухойдакала — это ж боже мой!» А Симеонов против воли прислушивался, как кряхтит и колыхается в тесном ванном корыте грузное тело Веры Васильевны,

как с хлопом и чмоканьем отстает ее нежный, тучный, налитой бок от стенки влажной ванны, как с всасывающим звуком уходит в сток вода, как шлепают по полу босые ноги, и как наконец, откинув крючок, выходит в халате красная, распаренная Вера Васильевна: «Фу-ух. Хорошо». Поцелуев торопился с чаем, а Симеонов, заторможенный, улыбающийся, шел ополаскивать после Веры Васильевны, смывать гибким душем серые окатыши с подсохших стенок ванны, выколупывать седые волосы из сливного отверстия. Поцелуев заводил граммофон, слышен был дивный, нарастающий, грозовой голос, восстающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром, над распаренным телом Верунчика, пьющего чай с блюдечка, над согнувшимся в своем пожизненном послушании Симеоновым, над теплой, кухонной Тamarой, над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над собирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, как умеют делать только реки.

МИЛАЯ ШУРА

В первый раз Александра Эрнестовна прошла мимо меня ранним утром, вся залитая розовым московским солнцем. Чулки спущены, ноги — подворотней, черный костюмчик засален и протерт. Зато шляпа!.. Четыре времени года — бульденежи, ландыши, черешня, барбарис — свились на светлом соломенном блюде, прищипленном к остаткам волос вот такую-то булавкой! Черешни немного оторвались и деревянно постукивают. Ей девяносто лет, подумала я. Но на шесть лет ошиблась. Солнечный воздух сбегает по лучу с крыши прохладного старинного дома и снова бежит вверх, вверх, туда, куда редко смотрим — где повис чугунный балкон на нежилой высоте, где крутая крыша, какая-то нежная решоточка, воздвигнутая прямо в утреннем небе, тающая башенка, шпиль, голуби, ангелы, — нет, я плохо вижу. Блаженно улыбаясь, с затуманенными от счастья глазами движется Александра Эрнестовна по солнечной стороне, широким циркулем переставляя свои дореволюционные ноги. Сливки, булочка и морковка в сетке оттягивают руку, трутся о черный, тяжелый подол. Ветер пешком пришел с юга, веет морем и розами, обещает дорогу по легким лестницам в райские голубые страны. Александра Эрнестовна улыбается утру, улыбается мне. Черное одеяние, светлая шляпа, побрякивающая мертвыми фруктами, скрываются за углом.

Потом она попадалась мне на раскаленном бульваре — размякшая, умиляющаяся потному, одинокому, застрявшему в пропеченном городе ребенку — своих-то детей у нее никогда не было. Страшное бельишко свисает из-под черной замурзанной юбки. Чужой ребенок доверчиво вывалил песочные сокровища на колени Александре Эрнестовне. Не пачкай тете одежду. Ничего... Пусть.

Я встречала ее и в спертom воздухе кинотеатра (спните шляпу, бабуля! ничего же не видно!). Певнопад экранным страстям Александра Эрнестовна шумно дышала,

трещала мятым покладным серебром, склеивая вязкой сладкой гнилой хрупкие аптечные челюсти.

Наконец она закрутилась в потоке огнедышащих маппи у Никитских ворот, заметалась, теряя направление, вцепилась в мою руку и выплыла на спасительный берег, на всю жизнь потеряв уважение дипломатического негра, залегшего за зеленым стеклом низкого блестящего автомобиля, и его хорошеньких кудрявых детишек. Негр взревел, пахнул синим дымком и умчался в сторону консерватории, а Александра Эрнестовна, дрожащая, перепуганная, выпученная, повисла на мне и потащила меня в свое коммунальное убежище — безделушки, овальные рамки, сухие цветы, — оставляя за собой шлейф валидола.

Две крошечные комнатки, лепной высокий потолок: на отставших обоях улыбаются, задумывается, капризничает упонительная красавица — милая Шура, Александра Эрнестовна. Да, да, это я! И в шляпе, и без шляпы, и с распущенными волосами. Ах, какая... А это ее второй муж, ну а это третий — не очень удачный выбор. Ну что уж теперь говорить... Вот, может быть, если бы она тогда решилась убежать к Ивану Николаевичу... Кто такой Иван Николаевич? Его здесь нет, он стиснут в альбоме, распялен в четырех картонных прорезях, прихлопнут дамкой в турнюре, задавлен каким-то недолговечными белыми собачками, подохшими еще до японской войны.

Садитесь, садитесь, чем вас угостить?.. Приходите, конечно, ради бога, приходите! Александра Эрнестовна одна на свете, а так хочется поболтать!

...Осень. Дожди. Александра Эрнестовна, вы меня узнаете? Это же я! Помните... ну, неважно, я к вам в гости. Гости — ах, какое счастье! Сюда, сюда, сейчас я уберу... Так и живу одна. Всех пережила. Три мужа, знаете? И Иван Николаевич, он звал, но... Может быть, надо было решиться? Какая долгая жизнь. Вот это — я. Это — тоже я. А это — мой второй муж. У меня было три мужа, знаете? Правда, третий не очень...

А первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо

жили. Весной — в Финляндию. Летом — в Крым. Белые кексы, черный кофе. Шляпы с кружевами. Устрицы — очень дорого... Вечером в театр. Сколько поклонников! Он погиб в девятнадцатом году — зарезали в подворотне.

О, конечно, у нее всю жизнь были рома-а-аны, как же иначе? Женское сердце — оно такое! Да вот три года назад — у Александры Эрнестовны скрипач снимал закуток. Двадцать шесть лет, лауреат, глаза!.. Конечно, чувства он таил в душе, но взгляд — он же все выдает! Вечером Александра Эрнестовна, бывало, спросит его: «Чаю?..», а он вот так только посмотрит и ни-че-го не говорит! Ну, вы понимаете?.. Ков-ва-арный! Так и молчал, пока жил у Александры Эрнестовны. Но видно было, что весь горит и в душе прямо-таки клокочет. По вечерам вдвоем в двух тесных комнатках... Знаете, что-то такое в воздухе было — обоим ясно... Он не выдерживал и уходил. На улицу. Бродил где-то допоздна. Александра Эрнестовна стойко держалась и надежд ему не подавала. Потом уж он — с горя — женился на какой-то — так, ничего особенного. Переехал. И раз после женитьбы встретил на улице Александру Эрнестовну и кинул такой взгляд — испепелил! Но опять ничего не сказал. Все похоронил в душе.

Да, сердце Александры Эрнестовны никогда не пустовало. Три мужа, между прочим. Со вторым до войны жили в огромной квартире. Известный врач. Знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье. И умер весело: когда уже ясно было, что конец, Александра Эрнестовна решила позвать цыган. Все-таки, знаете, когда смотришь на красивое, шумное, веселое, — и умирать легче, правда? Настоящих цыган раздобыть не удалось. Но Александра Эрнестовна — выдумщица — не растерялась, наняла ребят каких-то чумазых, девиц, вырядила их в шумящее, блестящее, развевающееся, распахнула двери в спальню умирающего — и забренчали, завопили, загундосили, пошли кругами, и колесом, и вприсядку: розовое, золотое, золотое, розовое! Муж не ожидал, он уже обратил взгляд туда, а тут вдруг врываются, шаялами крутят, визжат; он

приподнялся, руками замахал, захрипел: уйдите! — а они веселей, веселей, да с притопом! Так и умер, царствие ему небесное. А третий муж был не очень...

Но Иван Николаевич... Ах, Иван Николаевич! Все-то и было: Крым, тринадцатый год, полосатое солнце сквозь жалюзи распиливает на брусочки белый выскобленный пол... Шестьдесят лет прошло, а вот ведь... Иван Николаевич просто обезумел: сейчас же бросай мужа и приезжай к нему в Крым. Навсегда. Пообещала. Потом, в Москве, призадумалась: а на что жить? И где? А он забросал письмами: «Милая Шура, приезжай, приезжай!» У мужа тут свои дела, дома сидит редко, а там, в Крыму, на ласковом песочке, под голубыми небесами, Иван Николаевич бегаёт как тигр: «Милая Шура, навсегда!» А у самого, бедного, денег на билет в Москву не хватает! Письма, письма, каждый день письма, целый год — Александра Эрнестовна покажет.

Ах, как любил! Ехать или не ехать?

На четыре времени года раскладывается человеческая жизнь. Весна!!! Лето. Осень... Зима? Но и зима позади для Александры Эрнестовны — где же она теперь? Куда обращены ее мокнущие бесцветные глаза? Запрокинув голову, оттянув красное веко, Александра Эрнестовна закапывает в глаз желтые капли. Розовым воздушным шариком просвечивает голова через тонкую паутину. Этот ли мышинный хвостик шестьдесят лет назад черным павлиньим хвостом окутывал плечи? В этих ли глазах утонул — раз и навсегда — настойчивый, но небогатый Иван Николаевич? Александра Эрнестовна кряхтит и нашаривает узловатыми ступнями тапки.

— Сейчас будем пить чай. Без чая никуда не отпущу. Ни-ни-ни. Даже и не думайте.

Да я никуда и не уйду. Я затем и пришла — пить чай. И принесла пирожных. Я сейчас поставлю чайник, не беспокойтесь. А она пока достанет бархатный альбом и старые письма.

В кухню надо идти далеко, в другой город, по беско-

нечному блестящему полу, натертому так, что два дня на подошвах остаются следы красной мастики. В конце коридорного туннеля, как огонек в дремучем разбойном лесу, светится пятнышко кухонного окна. Двадцать три соседа молчат за белыми чистыми дверьми. На полпути — телефон на стене. Белеет записка, приколотая некогда Александрой Эрнестовной: «Пожар — 01. Скорая — 03. В случае моей смерти звонить Елизавете Осиповне». Елизаветы Осиповны самой давно нет на свете. Ничего. Александра Эрнестовна забыла.

В кухне — болезненная, безжизненная чистота. На одной из плит сами с собой разговаривают чьи-то щи. В углу еще стоит кудрявый конус запаха после покурившего «Беломор» соседа. Курица в авоське висит за окном, как наказанная, мотается на черном ветру. Голое мокрое дерево поникло от горя. Пьяница расстегивает пальто, опершись лицом о забор. Грустные обстоятельства места, времени и образа действия. А если бы Александра Эрнестовна согласилась тогда все бросить и бежать на юг к Ивану Николаевичу? Где была бы она теперь? Она уже послала телеграмму (еду, встречай), уложила вещи, спрятала билет подальше, в потайное отделение портмоне, высоко заколола павлиньи волосы и села в кресло, к окну — ждать. И далеко на юге Иван Николаевич, всполошившись, не веря счастью, кинулся на железнодорожную станцию — бегать, беспокоиться, волноваться, распорядиться, нанять, договариваться, сходить с ума, вглядываться в обложенный тусклой жарой горизонт. А потом? Она прождала в кресле до вечера, до первых чистых звезд. А потом? Она вытащила из волос шпильки, тряхнула головой... А потом? Ну что — потом, потом! Жизнь прошла, вот что потом.

Чайник вскипел. Заварю покрепче. Несложная пьеска на чайном ксилофоне: крышечка, крышечка, ложечка, крышечка, тряпочка, крышечка, тряпочка, тряпочка, ложечка, ручка, ручка. Длиннен путь назад по темному коридору с двумя чайниками в руках. Двадцать три соседа

за белыми дверями прислушиваются: не капнет ли своим поганым чаем на наш чистый пол? Не капнула, не волнуйтесь. Ногой отворяю готические дверные створки. Я вечность отсутствовала, но Александра Эрнестовна меня еще помнит.

Достала малиновые надтреснутые чашки, украсила стол какими-то кружавчиками, копается в темном гробу буфета, колыша хлебный, сухарный запах, выползающий из-за его деревянных щек. Не лезь, запах! Поймать его и прищемить стеклянными гранеными дверцами; вот так; сиди под замком.

Александра Эрнестовна достает чудное варенье, ей подарили, вы только попробуйте, нет, нет, вы попробуйте, ах, ах, ах, нет слов, да, это что-то необыкновенное, правда же, удивительное? правда, правда, сколько на свете живу, никогда такого... ну, как я рада, я знала, что вам понравится, возьмите еще, берите, берите, я вас умоляю! (О, черт, опять у меня будут болеть зубы!)

Вы мне нравитесь, Александра Эрнестовна, вы мне очень нравитесь, особенно вон на той фотографии, где у вас такой овал лица, и на этой, где вы откинули голову и смеетесь изумительными зубами, и на этой, где вы притворяетесь капризной, а руку забросили куда-то на затылок, чтобы резные фестоны нарочно сползли с локтя. Мне нравится ваша никому больше не интересная, где-то там отшумевшая жизнь, бегом убежавшая молодость, ваши нетлевшие поклонники, мужа, проследовавшие торжественной вереницей, все, все, кто окликнул вас и кого позвали вы, каждый, кто прошел и скрылся за высокой горой. Я буду приходить к вам и приносить и сливки, и очень полезную для глаз морковь, а вы, пожалуйста, раскрывайте давно не проветривавшиеся бархатные коричневые альбомы. — пусть подышат хорошенькие гимназистки, пусть разомнутся усатые господа, пусть улыбнется бравый Иван Николаевич. Ничего, ничего, он вас не видит, ну что вы, Александра Эрнестовна!.. Надо было решиться тогда. Надо было. Да она уже

решилась. Вот он — рядом, — руку протяни! Вот, возьми его в руки, держи, вот он, плоский, холодный, глянцевый, с золотым обрезом, чуть пожелтевший Иван Николаевич! Эй, вы слышите, она решилась, да, она едет, встречайте, все, она больше не колеблется, встречайте, где вы, ау!

Тысячи лет, тысячи дней, тысячи прозрачных непроницаемых занавесей пали с небес, сгустились, сомкнулись плотными стенами, завалили дороги, не пускают Александру Эрнестовну к ее затерянному в веках возлюбленному. Он остался там, по ту сторону лет, один, на пыльной южной станции, он бродит по заплеванному семечками перрону, он смотрит на часы, отбрасывает носком сапога пыльные веретена кукурузных обглодышей, нетерпеливо обрывает сизые кипарисные шишечки, ждет, ждет, ждет паровоза из горячей утренней дали. Она не приехала. Она не приедет. Она обманула. Да нет, нет, она же хотела! Она готова, и саквояжи уложены! Белые полупрозрачные платья поджали колени в тесной темноте сундука, несессер скрипит кожей, посверкивает серебром, бесстыдные купальные костюмы, чуть прикрывающие колени — а руки-то голые до плеч! — ждут своего часа, зажмурились, предвкушая... В шляпной коробке — невозможная, упоительная, невесомая... ах, нет слов — белый зефир, чудо из чудес! На самом дне, запрокинувшись на спину, подвяз лапки, спит шкатулка — шпильки, гребенки, шелковые шнурки, алмазный песочек, наклеенный на картонные шпатели — для нежных ногтей; мелкие пустячки. Жасминовый джинн запечатан в хрустальном флаконе — ах, как он сверкнет миллиардом радуг на морском ослепительном свету! Она готова — что ей помешало? Что нам всегда мешает? Ну, скорее же, время идет!.. Время идет, и невидимые толщи лет все плотнее, и ржавеют рельсы, и зарастают дороги, и бурьян по оврагам все пышней. Время течет, и колышет на спине лодку милой Шуры, и плещет морщинами в ее неповторимое лицо.

...Еще чаю?

А после войны вернулись — с третьим мужем — вот сюда, в эти комнатки. Третий муж все ныл, ныл... Коридор длинный. Свет тусклый. Окна во двор. Все позади. Умерли нарядные гости. Засохли цветы. Дождь барабанит в стекла. Ныл, ныл — и умер, а когда, отчего — Александра Эрнестовна не заметила.

Доставала Ивана Николаевича из альбома, долго смотрела. Как он ее звал! Она уже и билет купила — вот он, билет. На плотной картонке — черные цифры. Хочешь — так смотри, хочешь — переверни вверх ногами, все равно: забытые знаки неведомого алфавита, зашифрованный пропуск туда, на тот берег.

Может быть, если узнать волшебное слово... если догадаться... если сесть и хорошенько подумать... или где-то поискать... должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда, в тот день; все закрыли, ну а хоть щелочку-то — зазевались и оставили; может быть, в каком-нибудь старом доме, что ли; на чердаке, если отогнуть доски... или в глухом переулке, в кирпичной стене — пролом, небрежно заложенный кирпичами, торопливо замазанный, крест-накрест забитый на скрюченную руку... Может быть, не здесь, а в другом городе... Может быть, где-то в путанице рельсов, в стороне, стоит вагон, старый, заржавевший, с провалившимся полом, вагон, в который так и не села милая Шура?

«Вот мое купе... Разрешите, я пройду. Позвольте, вот же мой билет — здесь все написано!» Вон там, в том конце — ржавые зубья рессор, рыжие, покореженные ребра стен, голубизна неба в потолке, трава под ногами — это ее законное место, ее! Никто его так и не занял, просто не имел права!

...Еще чаю? Метель.

...Еще чаю? Яблони в цвету. Одуванчики. Сирень. Фу, как жарко. Вон из Москвы — к морю. До встречи, Александра Эрнестовна! Я расскажу вам, что там — на том конце земли. Не высохло ли море, не уплыл ли сухой листиком Крым, не выцвело ли голубое небо? Не



ушел ли со своего добровольного поста на железнодорожной станции ваш измученный, взволнованный возлюбленный?

В каменном московском аду ждет меня Александра Эрнестовна. Нет, нет, все так, все правильно! Там, в Крыму, невидимый, но беспокойный, в белом кителе, взад-вперед по пыльному перрону ходит Иван Николаевич, выкапывает часы из кармашка, вытирает бритую шею; взад-вперед вдоль ажурного, пачкающего белой пылью карликового заборчика, волнующийся, недоумевающий; сквозь него проходят, не замечая, красивые мордатые девушки в брюках, хипповые пареньки с закатанными рукавами, оплетенные наглым транзисторным баба-ду-баканьем; бабки в белых платочках, с ведрами слив; южные дамы с пластмассовыми аканфами клипсов; старички в негнущихся синтетических шляпах; насквозь, напролом, через Ивана Николаевича, но он ничего не знает, ничего не замечает, он ждет, время сбилось с пути, завязло на полдороге, где-то под Курском, споткнулось над соловьиными речками, заблудилось, слепое, на подсолнуховых равнинах.

Иван Николаевич, погодите! Я ей скажу, я передам, не уходите, она приедет, приедет, честное слово, она уже решила, она согласна, вы там стойте пока, ничего, она сейчас, все же собрано, уложено — только взять; и билет есть, я знаю, клянусь, я видела — в бархатном альбоме, засунут там за фотокарточку; он пообтрепался, правда, но это ничего, я думаю, ее пустят. Там, конечно... не пройти, что-то такое мешает, я не помню; ну уж она как-нибудь; она что-нибудь придумает — билет есть, правда? — это ведь важно: билет; и, знаете, главное, она решила, это точно, точно, я вам говорю!

Александрэ Эрнестовне — пять звонков, третья кнопка сверху. На площадке — ветерок: приоткрыты створки пыльного лестничного витража, украшенного легкомысленными лотосами — цветами забвения.

— Кого?.. Померла.

То есть как это... минуточку... почему?.. Но я же только что... Да я только туда и назад! Вы что?..

Белый горячий воздух бросается на выходящих из склена подъезда, норовя попасть по глазам. Погоди ты... Мусор, наверно, еще не увозили? За углом, на асфальтовом пятачке, в мусорных баках кончаются спирали земного существования. А вы думали — где? За облаками, что ли? Вон они, эти спирали — торчат пружинами из гнилого разверстого дивана. Сюда все и свалили. Овальнй портрет милой Шуры — стекло разбили, глаза выколоты. Старушечье барахло — чулки какие-то... Шляпа с четырьмя временами года. Вам не нужны облупленные черешни? Нет?.. Почему? Кувшин с отбитым носом. А бархатный альбом, конечно, украли. Им хорошо сапоги чистить. Дураки вы все, я не плачу — с чего бы? Мусор распарился на солнце, растекся черной банановой слизью. Пачка писем втоптана в жижу. «Милая Шура, ну когда же...», «Милая Шура, только скажи...» А одно письмо, подсохшее, желтой разлинованной бабочкой вертится под пыльным тополем, не зная, где присесть.

Что мне со всем этим делать? Повернуться и уйти. Жарко. Ветер гонит пыль. И Александра Эрнестовна, милая Шура, реальная, как мираж, увенчанная деревянными фруктами и картонными цветами, плывет, улыбаясь, по дрожащему переулку за угол, на юг, на немисливо далекий сияющий юг, на затерянный перрон, плывет, тает и растворяется в горячем полдне.

«НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»

Сестре Шуры

На золотом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты такой?
Говори поскорей, не задерживай
 добрых людей!
 Детская считалка

Вначале был сад. Детство было садом. Без конца и края, без границ и заборов, в шуме и шелесте, золотой на солнце, светло-зеленый в тени, тысячеярусный — от вереска до верхушек сосен; на юг — колодец с жабами, на север — белые розы и грибы, на запад — комариный малинник, на восток — черничник, шмели, обрыв, озеро, мостки. Говорят, рано утром на озере видели совершенно голого человека. Честное слово. Не говори маме. Знаешь, кто это был?.. — Не может быть. — Точно, я тебе говорю. Он думал, что никого нет. А мы сидели в кустах. — И что вы видели? — Всё.

Вот это повезло! Такое бывает раз в сто лет. Потому что единственный доступный обозрению голый — в учебнике анатомии — ненастоящий. Содрав по этому случаю кожу, нагловатый, мясной и красный, похвальноется он ключично-грудинно-сосковой мышцей (всё неприличные слова!) перед учениками восьмого класса. Когда (через сто лет) мы перейдем в восьмой класс, он нам тоже все это покажет.

Таким же красным мясом старуха Анна Ильинична кормит тигровую кошку Мемеку. Мемека родилась уже после войны, у нее нет уважения к еде. Вцепившись четырьмя лапками в ствол сосны, высоко-высоко над землей, Мемека застыла в неподвижном отчаянии.

— Мемека, мясо, мясо!

Старуха потряхивает тазик с антрекотами, поднимает его повыше, чтобы кошке было лучше видно.

— Ты посмотри, какое мясо!

Кошка и старуха с тоской смотрят друг на друга. «Убери», — думает Мемека.

— Мясо, Мемека!

В душных зарослях красной персидской сирени кошка портит воробьев. Одного такого воробья мы нашли. Кто-то содрал скальп с его игрушечной головки. Голый хрупкий череп, как крыжовина. Страдальческое воробьиное личико. Мы сделали ему чепчик из кружавчиков, сшили белую рубашечку и похоронили в шоколадной коробке. Жизнь вечна. Умирают только птицы.

Четыре беспечные дачи стояли без оград — иди куда хочешь. Пятая была «собственным домом». Черный бревенчатый сруб выбирался боком из-под сырого навеса кленов и лиственниц и, светлея, умножая окна, истончаясь до солнечных веранд, раздвигая настурции, расталкивая сирень, уклонившись от столетней ели, выбежал, смеясь, на южную сторону и останавливался над плавным клубнично-георгиновым спуском вниз-вниз-вниз, туда, где дрожит теплый воздух и дробится солнце в откинутых стеклянных крышках волшебных коробок, набитых огуречными детенышами в розетках оранжевых цветов.

У дома (а что там внутри?), распахнув все створки пронизанной июлем веранды, Вероника Викентьевна — белая огромная красавица — взвешивала клубнику: на варенье себе, на продажу соседям. Пышная, золотая, яблочная красота! Белые куры бродят у ее тяжелых ног, индюки высунули из лопухов непристойные лица, красно-зеленый петух скосил голову, смотрит на нас: что вам, девочки? «Нам клубники». Пальцы прекрасной купчихи в ягодной крови. Лопух, весы, корзинка.

Царица! Это самая жадная женщина на свете!

*Паливают ей заморские вина,
Заедает она пряником печатным,
Вкруг ее стоит грозная стража...*

Однажды с такими вот красными руками она вышла из темного сарая, улыбаясь: «Теленочка зарезала...»

На плечах топорики держат...

А-а-а! Прочь отсюда, бегом, кошмар, ужас — холодный смрад — сарай, сырость, смерть...

А дядя Паша — муж такой страшной женщины. Дядя Паша — маленький, робкий, затюканный. Он старик: ему пятьдесят лет. Он служит бухгалтером в Ленинграде: встает в пять часов утра и бежит по горам, по долам, чтобы поспеть на паровичок. Семь километров бегом, полтора часа узкоколейкой, десять минут трамваем, потом надеть черные нарукавники и сесть на жесткий желтый стул. Клеенчатые двери, прокуренный полуподвал, жидкий свет, сейфы, накладные — дяди Пашина работа. А когда пронесется, отшумев, веселый голубой день, дядя Паша вылезает из подвала и бежит назад: послевоенный трамвайный лягз, дымный вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие, корзинки; ветер гонит мятые бумажки по опустевшему перрону. Летом — в сандалиях, зимой — в подшитых валенках торопится дядя Паша в свой Сад, в свой Рай, где с озера веет вечерней тишиной, в Дом, где на огромной кровати о четырех стеклянных ногах колышется необъятная золотоволосая Царица. Но стеклянные ноги мы увидели позднее. Вероника Викентьевна надолго поссорилась с мамой.

Дело в том, что однажды летом она продала маме яйцо. Было неременное условие: яйцо немедленно сварить и съесть. Но легкомысленная мама подарила яйцо дачной хозяйке. Преступление всплыло наружу. Последствия могли быть чудовищными: хозяйка могла подложить яйцо своей курице, и та в своем курином неведении высидела бы точно такую же уникальную породу

кур, какая бегала в саду у Вероники Викентьевны. Хорошо, что все обошлось. Яйцо съели. Но маминой подлости Вероника Викентьевна простить не могла. Нам перестали продавать клубнику и молоко, дядя Паша, пробегая мимо, виновато улыбался. Соседи замкнулись: они укрепили металлическую сетку на железных столбах, насыпали в стратегически важных пунктах битого стекла, протянули стальной прут и завели страшного желтого пса. Этого, конечно, было мало.

Ведь могла же мама глухой ночью сигануть через забор, убить собаку и, проползая по битому стеклу, с животом, распоротым колючей проволокой, истекая кровью, изловчиться и слабеющими руками вырвать ус у клубники редкого сорта, чтобы привить его к своей чахлой клубничонке? Ведь могла же, могла добежать с добычей до ограды и, со стоном, задыхаясь, последним усилием перебросить клубничный ус папе, который притаился в кустах, поблескивая под луной круглыми очками?

С мая по сентябрь мучимая бессонницей Вероника Викентьевна выходила ночами в сад, долго стояла в белой просторной рубахе с вилами в руках, как Нептун, слушала ночных птиц, дышала жасмином. В последнее время слух у нее обострился: она могла слышать, как на нашей даче, за триста метров, накрывшись с головой верблюжьим одеялом, папа с мамой шепотом договариваются объегорить Веронику Викентьевну: прорыть подземный ход в парник с ранней петрушкой.

Ночь шла вперед, дом глухо чернел у нее за спиной. Где-то в теплой тьме, в сердцевине дома, затерявшись в недрах огромного ложа, тихо, как мышь, лежал маленький дядя Паша. Высоко над его головой плыл дубовый потолок, еще выше плыла мансарда, сундуки со спящими в нафталине черными добротными пальто, еще выше — чердак с вилами, клочьями сена, старыми журналами, а там — крыша, рогатая труба, флюгер, луна — через сад, через соч плыли, плыли, покачиваясь, унося дядю Пашу в страну утраченной юности, в страну сбыв-

шихся надежд, а потом возвращалась озябшая Вероника Викентьевна, белая и тяжелая, и отдавливала ему маленькие теплые ножки.

...Эй, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрет.

Ты побродишь без мыслей по опустевшему дому, а потом воспрянешь, расцветешь, оглядишься, вспомнишь, отгонишь воспоминания, возжаждешь и привезешь — для помощи по хозяйству — Вероникину младшую сестру, Маргариту, такую же белую, большую и красивую. И это она в июне будет смеяться в светлом окне, склоняться над дождевой бочкой, мелькать среди кленов на солнечном озере.

О, как на склоне наших лет...

А мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима, свинка и корь, наводнение и бородавки, и горящая мандаринами елка, и мне сшили шубу, а тетка во дворе потрогала ее и сказала: «Мутон!»

Зимой дворники наклеивали на черное небо золотые звезды, посыпали толчеными брильянтами проходные дворы Петроградской стороны и, взбираясь по воздушным морозным лестницам к окнам, готовили на утро сюрпризы: тоненькими кисточками рисовали серебряные хвосты жар-птиц.

А когда зима всем надоедала, они вывозили ее на грузовиках за город, пропихивали худосочные сугробы в зарешеченные подземелья и размазывали по скверам душистую черную кашу с зародышами желтых цветочков. И несколько дней город стоял розовый, каменный и гулкий.

А оттуда, из-за далекого горизонта, уже бежало, смеясь и шумя, размахивая пестрым флагом, зеленое лето с муравьями и ромашками.

Дядя Паша убрал желтого пса — положил в сундук и посыпал цафталшом; пустил в мансарду дачников —

чужую чернявую бабушку и толстую внучку; зазывал в гости детей и угощал вареньем.

Мы висели на заборе и смотрели, как чужая бабушка каждый час распахивает цветные окна мансарды и, освещенная арлекиновыми ромбами старинных стекол, взывает:

— Булки-молока хочш?!

— Не хочу.

— Какать-писать хочш?!

— Не хочу.

Мы скакали на одной ножке, лечили царапины слюной, зарывали клады, резали ножиком дождевых червей, подглядывали за старухой, стиравшей в озере розовые штаны, и нашли под хозяйским буфетом фотографию удивленной ушастой семьи с надписью: «На долгую, долгую память. 1908 год».

Пойдем к дяде Паше! Только ты вперед. Нет, ты. Осторожно, здесь порог. В темноте не вижу. Держись за меня. А он покажет нам комнату? Покажет, только сначала надо выпить чаю.

Витые ложечки, витые ножки у вазочек. Вишневое варенье. В оранжевой тени абажура смеется легкомысленная Маргарита. Да допивай ты скорее! Дядя Паша уже знает, ждет, распахнул заветную дверь в пещеру Аладдина. О комната! О детские сны! О дядя Паша — царь Соломон! Рог Изобилия держишь ты в могучих руках! Караван верблюдов призрачными шагами прошествовал через твой дом и растерял в летних сумерках свою багдадскую поклажу! Водопад бархата, страусовые перья кружев, ливень фарфора, золотые столбы рам, драгоценные столики на гнутых ножках, запертые стеклянные колонны горок, где нежные желтые бокалы обвил черный виноград, где мерцают непроглядной тьмой негры в золотых юбках, где изогнулось что-то прозрачное, серебряное... Смотри, драгоценные часы с ненашими цифрами и змеиными стрелками! А эти — с незабудками! Ах, но вон те, вон те, смотри же! Над циферблатом — стеклян-

ная комнатка, а в ней, за золотым столиком — золотой Кавалер в кафтане, с золотым бутербродом в руке. А рядом золотая Дама с кубком — часы бьют, и она бьет кубком по столику — шесть, семь, восемь... Сирень заводит, вглядываясь через стекло, дядя Паша садится к роялю и играет Лунную сонату. Кто ты, дядя Паша?..

Вот она, кровать на стеклянных ногах! Полупрозрачные в сумерках, невидимые и могущественные, высоко к потолку возносят они путаницу кружев, вавилоны подушек, лунный, спрневый аромат божественной музыки. Белая благородная голова дяди Паши откинута, улыбка Джоконды на его устах, улыбка Джоконды на золотом лице Маргариты, бесшумно вставшей в дверях, колышутся кружева занавесок, колышется сирень, колышутся георгиновые волны на склоне до горизонта, до вечернего озера, до лунного столба.

Играй, играй, дядя Паша! Халиф на час, заколдованный принц, звездный юноша, кто дал тебе эту власть над нами, замороженными, кто подарил тебе эти белые крылья за спиной, кто вознес твою серебряную голову до вечерних небес, увенчал розами, осенил горним светом, овеял лунным ветром?..

*О Млечный Путь, пресветлый брат
Молочных речек Ханаана,
Уплыть ли нам сквозь звездопад
К туманностям, куда слиянно
Тела возлюбленных летят!*

...Ну все. Пошли давай. Неудобно сказать дяде Паше простецкое слово «спасибо». Надо бы витиеватее: «Благодарю вас». — «Не стоит благодарности».

«А ты заметила, что у них в доме только одна кровать?» — «А где же спит Маргарита? На чердаке?» — «Может быть. Но вообще-то там дачники». — «Ну, значит, она в сенях, на лавочке». — «А может, они спят на этой стеклянной кровати, валетом?» — «Дура ты. Они

же чужие». — «Сама ты дура. А если они любовники?» — «Дак ведь любовники бывают только во Франции». Действительно. Это я не сообразила.

...Жизнь все торопливее меняла стекла в волшебном фонаре. Мы с помощью мамы проникали в зеркальные закоулки взрослого ателье, где лысый брючный закройщик снимал постыдные мерки, приговаривая: «побеспокою», мы завидовали девочкам в капроновых чулках, с проколотыми ушами, мы пририсовывали в учебниках: Пушкину — очки, Маяковскому — усы, а Чехову — в остальном вполне одаренному природой — большую белую грудь. И нас сразу узнал, и радостно кинулся к нам заждавшийся дефектный натурщик из курса анатомии, щедро протягивая свои пронумерованные внутренности, но бедняга уже никого не волновал. И, оглянувшись однажды, недоумевающими пальцами мы ощупали дымчатое стекло, за которым, прежде чем уйти на дно, в последний раз махнул платком наш сад. Но мы еще не осознали утраты.

Осень вошла к дяде Паше и ударила его по лицу. Осень, что тебе надо? Постой, ты что же, всерьез?.. Облетели листья, потемнели дни, сгорбилась Маргарита. Легли в землю белые куры, индюки улетели в теплые страны, вышел из сундука желтый пес и, обняв дядю Пашу, слушал вечерами вой северного ветра. Девочки, кто-нибудь, отнесите дяде Паше индийского чаю! Как мы выросли. Как ты все-таки сдал, дядя Паша! Руки твои набрякли, колени согнулись. Зачем ты дышишь с таким свистом? Я знаю, я догадываюсь: днем — смутно, ночью — отчетливо слышишь ты лязг железных заслонок. Перетирается цепь.

Что ты так суетишься? Ты хочешь показать мне свои сокровища? Ну так и быть, у меня есть еще пять минут. Как давно я здесь не была. Какая же я старая! Что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь, обшарпанные крашенные комодики, топорные клеенчатые картинки, колченогие жардиньерки, вытертый

плюш, штопанный тюль, рыночные корявые поделки, дешевые стекляшки? И это пело и переливалось, горело и звало? Как глупо ты шутишь, жизнь! Пыль, прах, тлен. Вынырнув с волшебного дна детства, из теплых сияющих глубин, на холодном ветру разождем озябший кулак — что, кроме горсти сырого песка, унесли мы с собой? Но, словно четверть века назад, дрожащими руками дядя Паша заводит золотые часы. Над циферблатом, в стеклянной комнатке, съежились маленькие жители — Дама и Кавалер, хозяева Времени. Дама бьет по столу кубком, и тоненький звон пытается проклянуть скорлупу десятилетий. Восемь, девять, десять. Нет. Прости, дядя Паша. Мне пора.

...Дядя Паша замерз на крыльце. Он не смог дотянуться до железного дверного кольца и упал лицом в снег. Белые морозные маргаритки выросли между его одеревеневших пальцев. Желтый пес тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонечек.

Новая хозяйка — пожилая Маргаритина дочь — сыпала прах дяди Паши в жестяную банку и поставила на полку в пустом курятнике — хоронить было хлопотно.

Согнутая годами пополам, низко, до земли опустив лицо, бродит Маргарита по простуженному сквозному саду, словно разыскивая потерянные следы на замолкших дорожках.

— Жестокая! Похорони его!

Но дочь равнодушно курит на крыльце. Ночи холодны. Пораньше зажжем огни. И золотая Дама Времени, выпив до дна кубок жизни, простучит по столу для дяди Паши последнюю полночь.

ОХОТА НА МАМОНТА

Красивое имя — Зоя, правда? Будто пчелы прожужжали. И сама красива: хороший рост и все такое прочее. Подробности? Пожалуйста, подробности: ноги хорошие, фигура хорошая, кожа хорошая, нос, глаза — все хорошее. Шатенка. Почему не блондинка? Потому что не всем в жизни счастье.

Когда Зоя познакомилась с Владимиром, тот был просто потрясен. Ну, или, во всяком случае, приятно удивлен.

— О! — сказал Владимир.

Вот так он сказал. И захотел видаться с Зоей часто-часто. Но не постоянно. И это ее огорчало.

В ее однокомнатной квартирке он из своих вещей держал только зубную щетку — вещь, безусловно, интимную, но уж не настолько, чтобы накрепко привязать мужчину к домашнему очагу. Зое хотелось, чтобы Владимировы рубашки, кальсоны, носки, скажем, — прижились у нее дома, сроднились с бельевым шкафом, валялись, может быть, на стуле; чтобы подхватить какой-нибудь там свитерок — и замочить! в «Лотос» его! Потом сушить в расправленном виде.

Так ведь нет, следов не оставлял; всешеньки-все держал в своей коммуналке. Даже бритву и ту! Хотя что он там ею брил, бородатый? У него было две бороды: одна густая, потемнее, а посредине ее как будто другая, поменьше, рыжеватая, узким пучочком росла на подбородке. Феномен! Когда он ел или смеялся, эта вторая борода так и прыгала. Роста Владимир был небольшого, на полголовы ниже Зои, вида немного дикого, волосатый. И очень быстро двигался.

Владимир был инженер.

— Вы инженер? — спросила Зоя нежно и рассеянно при первом знакомстве, когда они сидели в ресторане и она, раскрывая рот на миллиметр, дегустировала профитроли в шоколадном соусе, делая вид, что ей по

каким-то интеллектуальным причинам не очень вкусно.

— Точ-ч-чно, — сказал он, глядя на ее подбородок.

— Вы в НИИ?..

— Точ-ч-чно.

— ...или на производстве?

— Точ-ч-чно.

Поди пойми его, когда он так на нее засмотрелся. И выпил немножко.

Инженер — тоже хорошо. Правда, лучше бы он был хирургом. Зоя служила в больнице, в справочном, надевала белый халат и тем самым слегка принадлежала к этому удивительному медицинскому миру, белому, крахмальному, где шприцы и шпатели, каталки и автоклавы, и стопки грубого чистого белья в черных печатях, и розы, и слезы, и шоколадные конфеты, и стремительно увозимый по нескончаемым коридорам синий труп, за которым, едва поспевая, летит маленький огорченный ангел, крепко прижав к своей птичьей грудке пострадавшуюся, освобожденную, спеленатую как куклу душу.

А королем в этом мире хирург, и нельзя на него смотреть без трепета, когда он, облаченный с помощью камергеров в просторную мантию и зеленую корону с тесемками, стоит, величественно подняв свои бесценные руки, готовый к священной королевской миссии: свершить высший суд, обрушиться и отсесть, покарать и спасти, и сияющим мечом даровать жизнь... Ну как же не король? И Зое очень-очень хотелось пасть в кровавые хирурговы объятия. Но инженер — тоже хорошо.

Очень они тогда приятно провели время в ресторане, познакомившись, и Владимир, еще не знавший, на что он может с Зоей рассчитывать, был щедр. Это уж после он стал экономить, деловито просматривал меню, брал себе только одно мясное блюдо, недорогое, и в ресторане не задерживался. Напрасно Зоя сидела с томным видом,



сделав небрежное лицо, как бы слегка насмешливое, отчасти задумчивое — предполагалось, что по лицу пробегают мимолетные оттенки ее сложной душевной жизни — вроде изысканной печали или какого-то утонченного воспоминания; сидела, глядя якобы вдаль, изящно поставив локти на стол и, оттопырив нижнюю губу, пускала к расписным сводам красивые табачные колечки. Шла игра в феху. Но Владимир плохо подыгрывал: ел с интересом, без всякой грусти, пил залпом, курил не томно: быстро, жадно навоняет дымом и уже давит окурок, крутя в пепельнице желтым пальцем. Счет близко подносил к глазам, страшно изумлялся и тут же находил ошибку. А икру никогда не заказывал: се, мол, едят только принцессы да воры. Зоя обижалась: разве она не была принцессой, хотя и неузнанной? А потом вообще перестали ходить в ресторан, сидели дома. Или она одна сидела. Скучно было.

Летом ей было охота съездить на Кавказ. Там шум и вино, и ночное, с визгом, купание, и масса интересных мужчин, и, глядя на Зою, они говорили бы: «О!» — и сверкали зубами.

Вместо этого Владимир приволок в квартиру байдарку, привел двух товарищей, таких же, как он, — в пахучих клетчатых ковбойках, и они ползали на четвереньках, складывая и раскладывая, ставя какие-то заплатки, и совали по частям гладкое противное байдаркино тело в таз с водой, вскрикивая: «Течет! Не течет!», а Зоя сидела на тахте, ревнуя, недовольная теснотой, и ей приходилось все время приподнимать ноги, чтобы Владимир мог переползти с места на место.

Потом ей пришлось последовать за ним и его друзьями в этот ужасный поход, на север, по каким-то озерам, на поиски каких-то якобы изумительных островов, и она промерзла и промокла, а от Владимира пахло псиной. Неслись, быстро гребя, подскакивая на волнах, по сумрачному, северному, вздувшемуся свинцовой темнотой озеру, Зоя сидела прямо на полу ненавистной байдарки,

вытянув ноги, сильно укоротившиеся без каблуков, такие жалкие и худые в спортивных брюках, и чувствовала, что нос красный, и волосы свалились, и враждебные брызги воды размазывают тушь на ресницах, а впереди были еще две недели мучений в отсыревшей палатке, на необитаемой скале, поросшей сосной и брусничкой, среди чужих, оскорбительно бодрых людей, среди их радостных криков за обедом, сваренным из горохового концентрата.

И была Зоина очередь мыть в глубоком ледяном озере жирные алюминиевые миски, которые все равно оставались грязными. И голова у нее была грязная и зудела под косынкой.

Все инженеры были со своими женщинами, никто не глядел на Зою особенным взглядом, не говорил: «О!», и она чувствовала себя бесполом брючным товарищем, и противны ей были смех у костра, брэнчание на гитаре, радостные вопли при виде пойманной щуки. Она лежала в палатке совершенно несчастная, ненавидела двухбородого Владимира и хотела скорей уже выйти за него замуж. Тогда можно будет с полным правом законной жены не уродоваться на так называемой природе, а, оставшись дома, сидеть в легком и изящном халатике (всюду воланы, производство ГДР) на диване, нога на ногу, чтобы перед глазами — «стенка», и цветной телевизор (пусть Владимир купит), розовый свет от югославского торшера, и что-нибудь легонькое попить, и что-нибудь хорошее покуривать (пусть подарят родственники больных), ждать возвращения Владимира из байдарочного похода и встретить его чуть недовольно и с подозрением: что ты там, интересно, без меня делал? с кем это вы ездили? рыбы привез? — и после, так и быть, простить ему двухнедельное отсутствие. А в это его отсутствие, может быть, будет звонить знакомый хирург с заигрываниями, и Зоя, лениво обняв телефон и напустив на лицо выражение, будет тянуть: «Ну не знаю... Посмотрим... Вы серьезно так думаете?..» Или позвонит подруге: «Ну а ты что?.. А он что?.. Ну а ты?..»

Ах, город! Блеск, и вечер, и мокрый асфальт, и красные неоновые огни в лужах под каблуклами...

А здесь тяжело бьются о скалу волны, глухо шумит ветер в вершинах деревьев, костер пляшет свою вечную пляску, и ночь глядит в спину, и пищат по палаткам чумазые некрасивые женщины пняженеров. Тоска!

Владимир был в упоении, вставал рано, пока озеро было тихим и светлым, спускался по крутому склону, хватаясь за сосны и пачкая ладони в смоле, стоял, широко расставив ноги, на гранитной плите, уходящей в солнечную прозрачную воду, мылся, фыркал, и кричал, и оглядывался счастливыми глазами на Зою, заспанную, ненакрашенную, угрюмо стоявшую с ковшиком в руках: «Ну? Ты когда-нибудь слышала такую тишину? Ты послушай, как тихо! А воздух? Благодать!» Ох какой он был противный! Замуж, скорее за него замуж!

Осенью Зоя купила Владимиру тапки. Клетчатые, уютные, они ждали его в прихожей, разинув рты: сунь ножку, Вова! Здесь ты дома, здесь ты у тихой пристани! Оставайся с нами! Куда ты все убегаешь, дурашка?

Свою фотографию — каштановые кудри, брови коромыслом, взгляд строгий — Зоя сунула Владимиру в бумажник: полезет за проездным или расплатиться, увидит ее, такую красивую, и вскрикнет: ах, что же это я не женюсь? Ну как другие обгонят? Вечерами, ожидая, ставила на подоконник розовую круглоногую лампу — семейный маяк во мраке. Чтобы крепили узы, чтоб на сердце теплело: темен терем, темна ночь, но горит, горит огонечек — то звезда души его не спит, — может, банки закатывает, может, постирушку какую затеяла.

Мягкими были подушки, мягкими — тефтельки, дважды провернутые через мясорубку, все так и манило, и Зоя жужжала пчелой: поторапливайся, дружок! Поторапливайся, дрянь такая!

Хотелось попасть замуж, пока не стукнет двадцать пять — потом уже все, молодость кончится, тебя выве-

дут из зала, на твое место набегут другие: быстрые, кудрявые!

Утром пили кофе. Владимир читал журнал «Катера и яхты», жевал, крошки застревали в обеих бородах; Зоя враждебно молчала, глядела ему в лоб, посылая теленативические флюиды: женись, женись, женись, женись, женись! Вечером он опять чего-то читал, а Зоя глядела в окно и ждала, когда же спать. Владимир читал неспокойно, возбуждался, чесал в затылке, дрыгал ногой, хохотал и вскрикивал: «Нет, ты послушай!» — и, перебивая себя смехом, тыкая в Зою пальцем, прочитывал то, что ему так понравилось. Зоя кисло улыбалась или глядела холодно и пристально, никак не отзываясь, и он смущенно крутил головой, сникал и бормотал: «Ну дает мужик...», из гордости нарочно удерживая на лице неуверенную улыбку.

Радость портить она ему умела.

Нет, ну в самом деле: вот он тут живет на всем готовеньком. Все подметено, прибрано, холодильник вовремя размораживается. Щетка у него тут зубная. Домашняя обувь. Кормят его тут, поят. Надо что в чистку — пожалуйста! Ради бога! Так что ж ты, так тебя и этак, не женишься, только настроенные людям портишь?! Ведь знать бы точно, что не собираешься, тогда и до свидания! Ку-ку! Привет тете! Да как узнать его намерения? На прямой вопрос Зоя все-таки не отваживалась. Многовековой опыт остерегал. Один неудачный выстрел — и все, пиши пропало; добыча бежит прочь со всех ног, только пыль стоит и пятки сверкают. Нет, заманивать надо.

А он, гад, прижился. Чувствовал себя как дома. Со всем ручной стал. Перевез из коммуналки свои рубашки, пиджаки. Носки его теперь всюду валялись. Придет — и в тапки. Руки потирает: «А что у нас сегодня на ужин?» У нас — заметьте. Вот так он разговаривал.

— Мясо, — сквозь зубы отвечала Зоя.

— Мясо? Отлич-ч-чно! Отлич-ч-чно! А чем это мы так недовольны?

Или размечтается:

— Хочешь, машину купим? Ездить будем — куда душе угодно.

Просто издевательство! Как будто он никуда от Зои не собирался! А если правда не собирался? Тогда — давай женись. Любить без гарантий Зоя не хотела.

Зоя ставила западни: вырвет яму, прикроет ветвями и подталкивает, подталкивает... Вдруг, уже одетая и накрашенная, отказывалась идти в гости, ложилась на диван и скорбно смотрела в потолок. Что такое? Она не может... Почему? Потому... Нет, в чем дело? Заболела? Что случилось? А то, что она не может, не пойдет, ей стыдно выставлять себя на всеобщее посмешище, все будут пальцами показывать: в каком это, интересно, качестве она приперлась? Все с женами... Глупости, говорил Владимир, там жен в лучшем случае одна треть, да и те — чужие. И ведь до сих пор Зоя ходила — и ничего? До сих пор ходила, а теперь вот не может, у нее тонкая душевная организация, она, как роза, вянет от плохого обращения.

— Интересно, когда это я с тобой плохо обращался?!

И так далее, и так далее, и все в сторону от замаскированной ямы.

Владимир повел Зою к какому-то художнику; говорят, очень интересный. Зоя представила себе бомонд, группки искусствоведов: дамы — старые гримзы, все в бирюзе, а шеи — как у индюков; мужчины — элегантные, в нагрудных кармашках — цветные платочки, хорошо пахнут. Какой-нибудь благородный старик с моноклем протискивается. Художник — в бархатной блузе, бледный, в руке — палитра. Тут входит Зоя. Все — «О!». Художник бледнеет. «Вы должны мне позировать». Благородный старик смотрит тоскливым дворянским взором: его годы ушли, Зоино благоухание уже не для него.

Зоян портрет — ню — везут в Москву. Выставка в Манеже. Милиция сдерживает напор толпы. Вернисаж за границей. Портрет защищен бронированным стеклом. Впускают по двое. Воют сирены. Всем прижаться вправо! Входит президент. Он потрясен. Где оригинал? Кто эта девушка?..

— Здесь ногу не сломай, — сказал Владимир. Они спускались в подвал. С горячих труб свисала пакля. В мастерской тепло. Художник — такой сморчок в равной дерюжке — тащил тяжелые картины. Нарисовано странное: например, большое яйцо, а из него выходит много маленьких человечков, среди облаков парит Мао Цзэдун в кирзовых сапогах и расписном халате, в руке — чайник. Все вместе называется — «Конкорданс». Или вот — яблоко, а из него выползает червяк в очках и с портфелем. Или: дикая скалистая местность, хвощи, из хвощей выходит мамонт в тапочках. Кто-то маленький прицелился в него из лука. А сбоку видна пещерка: там электрическая лампочка на шнуре, телевизор светится, горит огонек газовой плиты. Даже сковородка тщательно нарисована, и на столике — букет хвощей. Называется — «Охота на мамонта». Интересно. «Ну что, смело, — говорил Владимир, — смело, смело... А идея?» — «Идея? — радостно удивлялся художник. — Обижаете! Что ж я, передвижник какой? Идея! От идей, брат, надо бежать во все лопатки и назад не оглядываться!» — «Нет, ну все-таки, все-таки...» Они заспорили, замахали руками, художник расставлял на низком столике шаткие керамические стаканчики, расчищал локтем несвежее пространство. Пили невкусное, заедали твердокаменными кусочками чего-то позавчерашнего. Хозяин светлым, как бы невидящим взглядом профессионала скользил по Зоинной поверхности. Зоину душу взгляд не зацеплял, будто ее вовсе и не было. Владимир раскраснелся, бороды его растрепались, оба они вскрикивали, произносили слова «абсурд» и другие, похожие; один ссылался на Джотто, другой — на Моисеенко, о Зое забыли. Голова у нее

разболелась, в ушах било: дум, дум, дум. За окном во тьме собирался дождь, пыльная лампочка под потолком плыла сквозь слонстый синеватый дым, на грубых белых полках толпились кувшины с крымскими колючками, давно поломанными, покрытыми паутиной. Зою не было ни здесь и нигде, ее вообще не было. Всего остального мира тоже не было. Только дым и шум: дум, дум, дум, дум.

На пути домой Владимир обнял Зою за плечи.

— Интереснейший мужик, хоть и псих! Ты слышала его рассуждения?! Прелесть, а?!

Зоя в злобе молчала. Шел дождь.

— Ты у меня молодец! — шумел Владимир. — Сейчас домой — и чайку крепкого, да?

Подлец Владимир. Нечестные, подлые приемы. Есть же правила охоты: мамонт отходит на некоторое расстояние, я прицеливаюсь, пускаю стрелу: вз-з-з-з-з-з! — и он готов. И я тащу его тушу домой: вот и мясо на долгую зиму. А этот приходит сам, подходит на близкое расстояние, пасется, щиплет травку, чешет бок о стену, дремлет на солнышке, изображает ручного! Позволяет себя доить! А загон-то открыт, открыт с четырех сторон! Да боже мой, ведь и загона нет! Ведь уйдет, уйдет же, господи! Изгородь нужна, частокол, веревки, канаты!

Дум, дум, дум. Солнце село. Солнце встало. На окно опустился голубь с окольцованной ногой, строго глянул в Зоины глаза. Вот, вот — пожалуйста! Какого-то голубя — паршивую, сорную птицу — и того кольцуют. Ученые в белых халатах, с честными, образованными лицами, кандидаты наук, берут его, голубчика, за бока — позвольте, батенька, обеспокоить, — и голубь понимает, голубь не возражает, безо всяких ко-ко-ко протягивает им свою красную кожаную ногу — прошу, товарищи! Ваше дело правое. Щелк! И летит он себе уже не абы как, не путается с воплями, как хам, под ногами, не шарахается с отвисшей челюстью от грузовиков, нет, —

научно облетает он карнизы и балконы, грамотно кушает положенное зерно и крепко помнит, что серые кляксы его помета, и те озарены отныне неподкупными лучами науки: Академия знает, в курсе, и — надо будет — спросит.

Она перестала разговаривать с Владимиром, сидела и глядела в окно, часами думая о научном голубе. Поймав на себе печальный взгляд инженера, напрягалась: ну? Где заветные слова? Произноси! Сдаешься?

— Зонька, что это ты? Я к тебе с любовью, а ты меня как этого... — мямлил двухбородый.

Черты ее окаменели и заострились, и давно уж никто не говорил: «О!» при встрече с ней, да ей это было и не нужно: синий огонь неизбывного горя, горевший в ее душе, заглушил все огни мира. Делать ничего не хотелось, и Владимир сам пылесосил, сам выбивал половичок, сам закатал на зиму баклажанную икру.

Дум, дум, дум — билё у Зои в голове, и голубь с огненным обручальным кольцом вставал из мрака, укоризненно нахмутив очи. Зоя ложилась на тахту ровно и прямо, накрывала голову пледом и вытягивала руки по швам. Безграничная Скорбь — так называли бы ее деревянное изваяние средневековые мастера из этого альбома, который на полке сбоку. Безграничная Скорбь — вот так вот. О, уж они бы изваяли как надо ее душу, ее боль, все складки ее пледа, изваяли бы и приспособили на самую верхотуру головокружительного кружевного собора, на самую маковку, и дали бы фото крупным планом: «Зоя. Деталь. Ранняя готика». Синий огонь нагревал шерстяную пещеру, дышать было нечем. Инженер на цыпочках выходил из комнаты. «Куда-а-а?» — кричала Зоя журавлиным кликом, и женатый голубь ухмылялся. «Я так... руки помыть... ты отдыхай», — испуганно шептал изверг.

«Сначала будто руки ему мыть, потом будто на кухню, а там и входная дверь рядом, — подсказывал голубь на ухо. — Раз — и вышел...»

А ведь верно. Она накинула двухбородому на шею веревочную петлю, легла на тахту, дернула и прислушалась. На том конце шуршало, вздыхало, топоталось. Никогда этот человек ей особенно не нравился. Да нет, чего уж там — он ей всегда был отвратителен. Маленькое, мощное, грузное, быстрое, волосатое, бесчувственное животное.

Оно еще возилось какое-то время — скулило, беспокоилось, пока наконец не затихло — блаженной, густой тишиной великого оледенения.

КРУГ

Мир конечен, мир искривлен, мир замкнут, и замкнут он на Василии Михайловиче.

В шестьдесят-то лет шуба тяжела, ступени круты, а сердце днем и ночью с тобой. Шел себе и шел, с горки на горку, мимо сияющих озер, мимо светлых островов, над головой — белые птицы, под ногами — пестрые змеи, а пришел вот сюда, а очутился вот здесь; сумрачно тут и глухо, и воротник душит, и хрипло ходит кровь. Здесь — шестьдесят.

Все это, все уже. Трава тут не растет. Земля промерзла, дорога узка и камениста, а впереди светится только одна надпись: выход.

И Василий Михайлович был не согласен.

Он сидел в коридоре парикмахерской и ждал жену. Через раскрытую дверь видна была тесная, перегороженная зеркальными барьерами зала, где три... где три его ровесницы корчились в руках могучих белокурых фурий. Можно ли назвать дамами то, что множило в зеркалах? С возрастающим ужасом вглядывался Василий Михайлович в то, что сидело ближе к нему. Кудрявая сирена, крепко упершись ногами в пол, схватила это за голову, и, оттянув ее назад, на придвинутый жестяной желоб, плеснула кипятком — взвился пар; бешено взмылила пену; снова пар, и не успел Василий Михайлович привстать и крикнуть, как она уже, навалившись, душила свою жертву белой вафельной простыней. Он перевел взгляд. В другом кресле — боже мой — к побагровевшей, очень довольной, впрочем, голове, утыканной словно бы штырями, tripodами, сопротивлениями, — тянулись длинные провода... В третьем кресле он, вглядевшись, узнал Евгению Ивановну и пошел в ее сторону. То, что дома казалось ее волосами, теперь съежилось, кожа обнажилась, и женщина в белом халате тыкала туда жпжицей на палочке. Удушливо пахло.

— Куда в пальто!!! — крикнуло несколько голосов.

— Женья, я все-таки пока пройдуся, сделаю кружочек, — махнул рукой Василий Михайлович. С утра он чувствовал слабость в ногах, бухало сердце и хотелось пить.

В фойе в больших кастрюлях росли какие-то жесткие зеленые сабли эфесами в землю, со стен глядели фотографии небывалых существ с нехорошими намеками во взгляде, а на головах-то! — башни, торты, крученые рога, или, как на пюре в столовках — волны. Вот одной из таких хочет быть Евгения Ивановна.

Дул холодный ветер, и мелко, сухо сыпало с неба. День был темный, пустой, короткий, вечер родился уже на рассвете. В маленьких магазинчиках ярко, уютно горел свет. На углу прилепилась крохотная, сияющая, благоуханная лавчонка, коробка с чудесами. Да разве войдешь: все навалились друг на друга, тянутся с чеками через головы, хватают маленькое что-то. Толстуху задавили в дверях, она цепляется за притолоку, ее сносит встречным потоком.

— Дайте вытти! Да дайте же вытти!

— Что там?

— Блеск для губ!

Василий Михайлович вклинился в толчею. Женщина, женщина, есть ли ты?.. Что ты такое?.. Высоко на вершине на сибирском дереве испуганно блестит глазами твоя шапка; корова в муках рождает дитя — тебе на сапоги; с криком оголяется овца, чтобы ты могла согреться ее волосами; в предсмертной тоске бьется кашалот, рыдает крокодил, задыхается в беге обреченный леопард. Твои розовые щеки — в коробках с летучей пылью, улыбки — в золотых футлярах с малиновой начинкой, гладкая кожа — в тюбиках с жиром, взгляд — в круглых прозрачных банках... Он купил для Евгении Ивановны пачку ресниц.

...Все предрешено и в сторону не свернуть — вот что мучило Василия Михайловича. И жен не выбирают, они сами, неизвестно откуда взявшись, возникают рядом с

вами, и вот вы уже бьетесь в сетях с мелкими ячейками, опутаны по рукам и ногам, и вас, стреноженного, с кляпом во рту, обучают тысячам тысяч удушающих подробностей преходящего бытия, ставят на колени, подрезают крылья, и тьма сгущается, а солнце и луна все бегут и бегут, догоняя друг друга, по кругу, по кругу, по кругу.

Василию Михайловичу открылось, чем чистить ложки и какова сравнительная физиология котлеты и тефтели; он помнил наизусть печально короткий срок жизни сметаны и в его обязанности входило уничтожить ее при первых же признаках начинающейся агонии; он знал месторождения мочалок и веников, профессионально различал крупы, держал в голове все залоговые цены на стеклянную посуду и каждую осень протирал оконные стекла нашатырем, чтобы в корне уничтожить морозные вишневые сады, что собирались вырасти к зиме.

Иногда Василий Михайлович представлял себе, что вот, он доживет эту жизнь и начнет новую, в другом обличье. Он придирчиво выбирал себе возраст, эпоху, внешность; то ему хотелось родиться пламенным южным юношей, то средневековым алхимиком, то дочкой миллионера, то любимым котом вдовы, то персидским царем. Василий Михайлович прикидывал, выбирал, капризничал, ставил условия, ударялся в амбицию, забраковывал все предложенные варианты, требовал гарантий, дулся, уставал, терял ход мысли, и, откинувшись в кресле, долго глядел в зеркало на себя — одного-единственного.

Ничего не происходило. Не являлся Василию Михайловичу ни шестикрылый серафим, ни другое пернатое с предложением сверхъестественных услуг, ничего не разверзлось, не слышался глас с неба, никто не искушал, не возносил, ни расстилал. Трехмерность бытия, финал которого все приближался, душила Василия Михайловича, он пытался сойти с рельсов, провертеть дырочку в небосклоне, уйти в нарисованную дверь. Как-то, сдавая в стирку простыни, Василий Михайлович загляделся на

цветущий клевер хлопчатобумажных просторов, заметил, что семизначная метка, пришитая на северо-востоке, похожа на номер телефона, тайно позвонил по этому телефону, был благосклонно принят и завел скучный, безрадостный роман с женщиной Кларой. У Клары дома все было такое же, как у Василия Михайловича, такая же чистая кухня, разве что окна на север, такая же тахта, и, ложась в крахмальную Кларину постель, Василий Михайлович видел в уголку подушки еще один телефонный номер; вряд ли там ждала его судьба, но, наскучив Кларой, он все же позвонил и обрел женщину Светлану с девятилетним сыном; в Светланином шкафу стопочкой тоже лежало, переложенное кусками хорошего мыла, чистое белье.

Евгения Ивановна что-то чувствовала, искала следов, рылась в его карманах, разворачивала бумажки, не подозревая, что спит как бы в страницах большой записной книжки, испещренной номерами Кларино телефона, а Клара дремала в телефонах Светланы, а Светлана покопалась, как выяснилось, в телефонах бухгалтерии райсобеса.

Женщины Василия Михайловича так и не узнали о существовании друг друга, впрочем, и с подробностями о себе самом Василий Михайлович не навязывался. Да и откуда бы у него взяться фамилии, должности, адресу, почтовому, скажем, индексу. — у него, у пододеяльного, паволочного фантома, порожденного капризной случайностью прачечной канцелярии?

Василий Михайлович приостановил эксперимент не из-за райсобеса. Просто он понял, что попытка вырваться из системы координат не удалась. Не новый, небывалый путь с захватывающими дух возможностями открывался ему, не тайная тропинка в запредельное, нет; он попросту нашарил впотьмах и ухватил обычное очередное колесо судьбы и, перехватывая обод обеими руками, по дуге, по кругу добрался бы, в конце концов, до себя самого — с другой стороны.

Ведь где-то в толще городского клубка, в тугом мотке переулков безымянная старуха вбрасывает в маленькое деревянное окошко тучок с потрепанным бельишком, помеченным семизначной криптограммой; это ты в ней зашифровав, Василий Михайлович. По справедливости-то ты — старухин. У нее все права на тебя — а ну как предьявит? Не хочешь?.. И Василий Михайлович — нет, нет, нет, — не хотел чужой старухи, боялся ее чулок, и ступней, и дрожжей каких-нибудь, и скрипа пружин под ее белым пожилым туловищем, и еще у нее будет чайный гриб в трехлитровой банке — скользкий, безглазый молчун, что годами тихо-тихо живет на подоконнике и ни разу даже не всплеснет.

А тот, кто держит в руках свиток судьбы, кто пред-решает встречи, кто посылает алгебраических путников из пункта А в пункт Б, кто наполняет бассейны из двух труб, уже поместил красным крестиком перекресток, где он должен был встретить Изольду. Теперь ее, конечно, давно уже нет.

Он увидел Изольду на рынке и пошел за ней следом. Глянув сбоку в ее голубое от холода лицо, в прозрачные виноградные глаза, он решил: пусть она и будет той, кто выведет его из тесного пенала, именуемого мирозданием. На ней была потертая шубейка с ремешком, художочная вязаная шапочка — такие шапочки десятками протягивали приземистые, плотные женщины, запрудившие подходы к рынку; этим женщинам, как и самоубийцам, возбраняется пребывание в ограде, отказано в упокоении за дощатыми столами, и тени их, твердые от мороза, бродят толпой вдоль голубого штакетника, держа на вытянутых руках стопки ворсистых блинов — малиновых, зеленых, канареечных, шевелящихся на ветру, а ранняя ноябрьская манка сыплется, сыплется, метет и посвистывает, торопится укутать город к зиме.

И Василий Михайлович, со стиснутым от надежд сердцем, смотрел, как робкая Изольда, продрогшая до сердцевины, до ледяного хруста тонких косточек; бредет

сквозь черную толпу, и заходит в ограду, и ведет пальчиком вдоль длинных пустынных прилавков, высматривая, не осталось ли чего вкусненького.

Северные бури развеяли, выдули изнеженных торговцев летним капризным товаром, теми сладкими чудесами, что сотворены в вышине теплым воздухом из розовых и белых цветов. Но неколебимо стоят, примерзнув к деревянным столам, последние верные слуги земли, угрюмо раскинув холодную свою подземную добычу; ибо перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения — черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города.

И бредет разочарованная Изольда прочь, вдоль голубого забора, мимо галош и фанерных ящичков, мимо замусоленных журналов и проволочных мочалок, мимо пьяницы, протягивающего белые фарфоровые штепсели, мимо парня, равнодушно разложившего веер раскрашенных фотографий, мимо и мимо, печалясь и дрожа, и настырная баба уже крутит, и нахваливает, и чешет перед ее голубоватым личиком яркое шерстяное колесо, терзая его зубастой железной щеткой.

Василий Михайлович взял Изольду за руку и предложил выпить вина, и винным блеском сверкнули его слова. Он повел ее в ресторан, и толпа расступалась перед ними, и гардеробщик принял ее одежды как волшебное лебединое оперение феи-купальщицы, спустившейся с небес на маленькое лесное озеро. Мягкий мраморный аромат источали колонны, в полумраке мерещились розы, Василий Михайлович был почти молод, и Изольда была как диковинная серебряная птица, изготовленная природой в единственном экземпляре.

Евгения Ивановна почуяла Изольдину тень, и рыла ямы, и натягивала колючую проволоку, и выковала цепь, чтобы Василий Михайлович не мог уйти. Лежа с сердцебиением под боком у Евгении Ивановны, он видел внут-

ренным взором, как на полночных улицах сияет снежный прохладный покой. Нетронутая белизна тянется, тянется, и вот — плавно повернула за угол, а на углу — розовым светом полное венецианское окно, и за ним Изольда не спит, вслушиваясь в негнятную городскую метельную мелодию, в темные зимние виолончели. И Василий Михайлович, задыхаясь во мраке, мысленно посылал Изольде свою душу, зная, что она дойдет до нее по сверкающей дуге, что соединяет их через полгорода, невидимая для непосвященных:

*Ночными вагонами в горле стучит,
Накатит — и схватит — и вновь замолчит.
Распятый, повис над слепую дырой,
Где ангелы смерти звенят мошкаррой:
«Сдавайся! Ты заперт в квадрате ночном,
Накатим — отпустим — и снова начнем».
О женщина! Яблоня! Пламя свечи!
Прорвись, прогони, огради, закричи!
И стиснуты руки, и скрючило рот,
И черная дева из мрака поет.*

Василий Михайлович перегрыз цепь и убежал от Евгении Ивановны; они сидели с Изольдой, взявшись за руки, и он широко распахивал для нее двери своей душевной сокровищницы. Он был щедр, как Али-Баба, а она удивлялась и трепетала. Изольда ничего не просила у Василия Михайловича: ни тувалета хрустального, ни цветного кушака царицы шемаханской; все бы ей сидеть у его изголовья, все бы ей гореть венчальной свечой, гореть не сгорая ровным тихим пламенем.

Скоро Василий Михайлович выложил все, что у него было. Теперь очередь была за Изольдой: она должна была обвинить его своими слабыми голубыми руками и шагнуть с ним вместе в новое измерение, чтобы молния, сверкнув, расколола обыденный мир, как яичную скорлупу. Но ничего похожего не происходило. Изольда все

трепетала да трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. «Ну что, Ляля?» — говорил он, зевая.

Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совал окурки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан: собирался назад к Евгении Ивановне. Часы тикали, Изольда плакала, ничего не понимая, обещала умереть, под окном была слякоть. И чего нюни распускать? Вон взяла бы лучше и прокрутила мяса, котлет бы нажарила. Сказал: уйду, — значит, уйду. Что тут неясного?

Евгения Ивановна на радостях испекла пирог с морковью, помыла голову, натерла полы. Сорокалетие свое он отпраздновал сначала дома, а потом в ресторане, недоеденную рыбу и заливное они собрали в полиэтиленовые мешочки, и еще на завтрак хватило. Получил хорошие подарки: радиолу, часы с деревянным орлом и фотоаппарат ФЭД, Евгения Ивановна как раз давно хотела сфотографироваться на пляже в набегающей волне. Изольда не удержалась, подпортила юбилей: прислала какую-то дрянь в бумажке и стишки без подписи, детским почерком:

*Вот на прощанье для тебя подарок:
Свечи огарок,
Шнурки от туфелек и косточка от сливы.
Вглядишься пристально и усмехнешься криво:
Такой была
Твоя любовь, пока не умерла:
Огонь, и легкий бег, и сладкие плоды
Над пропастью, на краешке беды.*

Теперь-то ее давно нет.

И вот ему шестьдесят, и ветер дует в рукава, задувает в сердце, и ноги идти не хотят. Ничего, ничего не происходит, ничего нет впереди, да и позади, в общем-то, тоже ничего. Шестьдесят лет он ждет, что придут и

позовут, и откроют тайное тайных, что полыхнет зарево на полмира, встанет лестница из лучей от неба до земли и архангелы с тромбонами и саксофонами, или что там у них полагается, завопят неземными голосами, приветствуя избранника. Ну что же они медлят? Он ждет всю жизнь.

Он ускорил шаги. Пока Евгении Ивановне бреют шею, варят голову и загибают волосы железными крючками, он успеет дойти до рынка, выпить теплого пива. Холодно, шуба-то паршивая, одно название, что шуба — фальшивая шкура на ложном меху, купленная Евгенией Ивановной у спекулянтки. «Для себя-то крокодилов обдирает», — подумал Василий Михайлович. К спекулянтке — за крокодиловой обувью, шубой и другими мелочами — ходили под вечер, долго искали нужный дом. На лестничной площадке была тьма, шарили ощупью, спичек не нашлось. Василий Михайлович тихо ругался. С изумлением нащупал на одной из дверей глазок на уровне колена. «Правильно, значит, сюда», — шептала жена. «Что же она, на четвереньках ходит?» — «Она карлица, цирковой лилипут». С замиранием сердца он ощутил близкое присутствие чуда: за дерматиновой дверью, может быть, той самой, единственной дверью на свете, зияет провал в иную вселенную, дышит живая тьма и среди звезд парит, дрожа на стрекозиных крылышках, крошечный полупрозрачный эльф, звенящий, как колокольчик.

Карлица оказалась старой, бешеной, злой, руками трогать вещи не позволяла. Василий Михайлович искоса разглядывал кровать с приставной лесенкой, детские стульчики, низко, над самым полом висящие фотографии, свидетельствующие о минувшей прелести лилипутки. Там, на снимках, стоя на крупе расфуфыренной лошади, в балетных пачках, в стеклянных цирковых алмазах, счастливая, крошечная, махала ручкой юная спекулянтка через стекло, через время, через прошедшую жизнь. А здесь, выхватывая из шкафов морщини-

стыми ручонками огромные взрослые вещи, метался взад-вперед злобный тролль, страж подземного золота, и от висящего над полом абажура Гулливером металась по стенам тень. Евгения Ивановна купила у страшной девочки и шубу, и крокодиловые туфли, и подмигивающий японский кошелек, и платок с люрексом, и шкурку пещера на шапку, и пока, поддерживая друг друга, они нащаривали ногами путь вниз по темной лестнице, объясняла Василию Михайловичу, что песцовый мех надо чистить манной крупой, раскаленной на сухой сковородке, и что мездра воды боится, и что теперь надо купить полметра простой тесьмы. Василий Михайлович, стараясь ничего не запомнить, думал о том, какой была лилипуточка в юности, и можно ли лилипутам жениться, и о том, что если ее посадят за спекуляцию, какой большой и страшной покажется ей тюремная камера, и каждая крыса будет как конь, и представлял себе, как молодая спекулянточка сидит в мрачном зарешеченном замке, где лишь совы да летучие мыши, и как она заламывает кукольные ручки, и как стемнело, и как он крадется к замку с веревочной лестницей на плече через зловеющий парк, и лишь луна серебряным яблоком бежит за черными сучьями, и лилипуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная как леденец в лунном свете, и как он карабкается, обдирая пальцы о замшелые средневековые камни, а стража уснула, опершись на алебарды, а вороной конь внизу храпит и бьет копытом, готовый скакать по усыпанной опилками арене, по красному ковру, по кругу, по кругу, по кругу.

Время, отпущенное Василию Михайловичу, иссякало. Океан остался позади, а неизведанный континент так и не преградил ему путь, новые земли не выплыли из тумана, и он уже с тоской различал впереди унылые пальмы и знакомые минареты Индии, которых так жаждал просчитавшийся Колумб и которые означали конец пути для Василия Михайловича. Югосветное путешествие, по всем признакам, заканчивалось: его каравелла, обо-

гнув жизнь, подплывала с обратной стороны и уже вновь бороздила знакомые просторы. Проплыл знакомый райсобес, где на флажтоках развевались пенсионные, проплыл оперный театр, где Светланин сын, наклеив театральные брови, густо пропел о быстротечности жизни под громкие аплодисменты Евгении Ивановны. «Если встречу Изольду, — загадывал Василий Михайлович, — путь окончен». Но он хитрил: Изольды давно уже не было.

Еще иногда доносились сигналы: ты не одинок. Есть в чаще людей светлые полянки, где в отшельнических хижинах обитают подвижники, избранные, отринувшие суету, ищущие заветную лазейку из темницы.

Приходили известия: в мире появились странные предметы, с виду никчемные, бесполезные, но исполненные некоего тайного смысла; указатели, ведущие в никуда. Таков был Чебурашка — дерзкий вызов школьному дарвинизму, непарное мохнатое звено эволюции, выпавшее из расчисленной цепи естественного отбора. Таков был кубик Рубика, ломкий, изменчивый, но вечно единый гексаэдр. Простояв четыре часа на морозе вместе с тысячей угрюмых собратьев-сектантов, Василий Михайлович стал владельцем чудесного кубика, и неделями, до красных глаз, крутил и крутил его скрипучие подвижные грани, тщетно ожидая, что блеснет, наконец, свет из окошка другой вселенной. Но, почувствовав как-то ночью, что из них двоих настоящий-то хозяин — кубик, что это он выделяет что хочет с беспомощным Василием Михайловичем, он встал, пошел на кухню и капустной сечкой зарубил гадину.

В ожидании откровения он листал слепые машинописные страницы, учившие, как надо на рассвете вдыхать одной ноздрей зеленый квадрат и гонять его мысленным усилием по кишкам туда и обратно. Он часами стоял на голове, скрестив ноги, в чужой квартире у вокзала, между двух небритых, тоже перевернутых, инженеров, и от перестука поездов за стеной, уносившихся в дальние

странствия, дрожали их поднятые ввысь полосатые носки. И все было напрасно.

Впереди показался рынок, облепленный будками. Сумерки, сумерки. Озарилась изнутри ледяная витрина ларька, где зима торгует снежным, облитым шоколадом мякишем на занозистых щепочках, и того, пестрого, как домик-пряник, где можно купить разного ядовитого дыму, и складную ложку, и витые цепи из особого, очень дешевого народного золота; и того, вожделенного, где сгрудилась толпа черных людей с потеплевшими от счастья сердцами и где в толстом стекле кружек блуждающими огнями прозрачно светится пивная заря. Василий Михайлович занял очередь и обвел взглядом снежную площадь.

Там стояла Изольда, расставив ноги. Она сдувала пену себе на войлочные боты, страшная, с треснувшим пьяным черепом, с красной морщинистой мордой. Загорались огни и всходили первые звезды, белые, синие, зеленые. Морозный ветер долетал от звезд до земли, развеивал ее непокрытые волосы и, покружившись над головой, уходил в темные подворотни.

— Лялечка, — сказал Василий Михайлович.

Но она смеялась с новыми приятелями, спотыкалась, подставляя кружку: черный мужик раскупоривал бутылку, другой бил сухой рыбой об угол ларька, им было хорошо.

— Ра-адостно сее-ее-ердцу, — пела Изольда. — О, если б навеки так быы-было!

Василий Михайлович стоял и слушал ее пение и не понимал слов, а когда очнулся, дерущуюся Изольду поспешно уводили милиционеры. Впрочем, это не могла быть Изольда: ведь ее давно уже не было.

А он, кажется, еще был. Но теперь это не имело никакого смысла. К сердцу подступала тьма. Пробил час уходить. И он оглянулся назад в последний раз и увидел лишь длинный холодный туннель с заиндевелыми

стенками и себя, ползущего с протянутой рукой и угрюмо затаптывающего все вспыхивающие на пути искры. А очередь подталкивала его и торопила, и он шагнул вперед, уже не чувствуя ног, и с благодарностью принял из ласковых рук заслуженную чашу с цикутой.

ЧИСТЫЙ ЛИСТ

Жена как прилегла в детской на диване — так и заснула: ничто так не выматывает, как больной ребенок. И хорошо, пусть там и спит. Игнатьев прикрыл ее пледом, потоптался, посмотрел на разинутый рот, изможденное лицо, отросшую черноту волос — давно уж не притворялась блондинкой, — пожалел ее, пожалел хилого, белого, опять вспотевшего Валерика, пожалел себя, ушел, лег и лежал теперь без сна, смотрел в потолок.

Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска. Тяжелая, смутная, с опущенной головой, садилась на краешек постели, брала за руку — печальная сиделка у безнадежного больного. Так и молчали часами — рука в руке.

Ночной дом шуршал, вздрагивал, жил; в неясном гуле возникали проплешины — там собачий лай, там обрывок музыки, а там постукивал, ходил то вверх, то вниз по ниточке лифт — ночная лодочка. Рука в руке с тоской молчал Игнатьев; запертые в его груди, ворочались сады, моря, города, хозяином их был Игнатьев, с ним они родились, с ним были обречены раствориться в небытии. Бедный мой мир, твой властелин поражен тоской. Жители, окрасьте небо в сумеречный цвет, сядьте на каменные пороги заброшенных домов, уроните руки, опустите головы — ваш добрый король болен. Прокаженные, идите по пустынным переулочкам, звоните в медные колокольчики, несите плохие вести: братья, в города идет тоска. Очаги заброшены, и зола остыла, и трава пробивается между плит там, где шумели базарные площади. Скоро в чернильном небе взойдет низкая красная луна, и, выйдя из развалин, первый волк, подняв морду, завоюет, пошлет одинокий клич ввысь, в ледяные просторы, к далеким голубым волкам, сидящим на ветвях в черных чащах чужих вселенных.

Игнатьев плакать не умел и потому курил. Маленькими, игрушечными зарницами вспыхивал огонек. Иг-

натьев лежал, тосковал, чувствовал табачную горечь и знал, что в ней — правда. Горечь, дым, крошечный оазис света во тьме — это мир. За стеной прошумел водопроводный кран. Землистая, усталая, дорогая жена спит под рваным пледом. Разметался беленький Валерик — хилый, болезненный росточек, жалкий до спазм — сыпь, желёзки, темные круги под глазами. А где-то в городе, в одном из освещенных окон, пьет красное вино и смеется не с Игнатьевым неверная, зыбкая, уклончивая Анастасия. Погляди на меня... но она усмехается и отводит взгляд.

Игнатьев повернулся на бок. Тоска придвинулась к нему ближе, взмахнула призрачным рукавом — выплыли корабли вереницей. Матросы пьянствуют с туземками по кабакам, капитан засиделся на веранде у губернатора (сигары, ликеры, ручной попугай), вахтенный оставил свой пост, чтобы поглазеть на петушиный бой, на бородатую женщину в пестром лоскутном балагане; тихо отвязались канаты, подул ночной ветерок, и старые парусники, поскрипывая, выходят из гавани неведомо куда. Крепко спят по каютам больные дети, маленькие доверчивые мальчишки; посапывают, зажав игрушку в кулачке; одеяла сползают, покачиваются пустынные палубы, в непроглядную тьму с мягким плеском уплывает стая кораблей, и разглаживаются на теплой черной глади узкие стрелчатые следы.

Тоска взмахнула рукавом — расстелила бескрайнюю каменистую пустыню — иней блестит на холодной скалистой равнине, равнодушно застыли звезды, равнодушно чертит круги белая луна, печально звякает уздечка мерно ступающего верблюда, — приближается всадник, закутанный в полосатую бухарскую промерзшую ткань. Кто ты, всадник? Отчего отпустил поводья? Зачем закутал лицо? Дай отвести твои окоченевшие руки! Что это, всадник, ты мертв?.. Рот всадника зияет бездонным провалом, спутаны волосы, и глубокие скорбные борозды прочертили на щеках тысячелетиями льющиеся слезы.

Взмах рукава. Анастасия, блуждающие огни над болотной трясиной. Что это гукнуло в чаще? Не надо оглядываться. Жаркий цветок манит ступить на пружинящие коричневые кочки. Погуливает редкий беспокойный туман — то приляжет, то повиснет над добрым манящим мхом; красный цветок плавает, мигает через белые клубы: сюда иди, сюда иди. Один шаг — разве это страшно? Еще один шаг — разве ты боишься? Мохнатые головы стоят во мху, улыбаются, подмигивают всем лицом. Гулкий рассвет. Не бойся, солнце не встанет. Не бойся, у нас еще есть туман. Шаг. Шаг. Шаг. Плавает, смеется, вспыхивает цветок. Не оглядываться!!! Я думаю, дастся в руки. Я так думаю, что все-таки дастся. Дастся, я думаю. Шаг.

— И-и-и-и, — застонало в соседней комнате. Толчком прыгнул Игнатъев в дверь, кинулся к зарешеченной кровати — что ты, что ты? Вскинулась спутанная жена, задергали, мешая друг другу, простыни, одеяло Валерика — что-то делать, двигаться, суетиться! Беленькая голова заметалась во сне, забредила: ба-да-да, ба-да-да! Быстрое бормотанье, отталкивает руками, успокоился, повернулся, улегся... Ушел в сны один, без мамы, без меня, по узенькой тропочке под еловые своды.

«Что это он?» — «Опять температура. Я здесь лягу». — «Лежи, я плед принес. Подушку сейчас дам». — «Вот так он до утра будет. Прикрой дверь. Хочешь есть, там сырники». — «Не хочу, ничего не хочу. Спи».

Тоска ждала, лежала в широкой постели, подвинулась, дала место Игнатъеву, обняла, положила голову ему на грудь, на срубленные сады, обмелевшие моря, пепелища городов.

Но еще не все убиты: под утро, когда Игнатъев спит, откуда-то из землянок выходит Живое; разгребает обгоревшие бревна, сажает маленькие ростки рассады: пластмассовые примулы, картонные дубки; таскает кубики, возводит времянки, из детской лейки наполняет чаши

морей, вырезает из промокашки розовых пучеглазых крабов и простым карандашом проводит темную извилистую черту прибора.

После работы Игнатьев не сразу шел домой, а пил с другом в погребке пиво. Он всегда торопился, чтобы занять лучшее место — в уголке, но это удавалось редко. И пока он спешил, обходя лужи, ускоряя шаг, терпеливо пережидая ревущие реки машин, за ним, затесавшись среди людей, поспешала тоска; то там, то тут выныривала ее плоская, тупая головка. Отвязаться от нее не было никакой возможности, швейцар пускал ее и в погребок, и Игнатьев радовался, если друг приходил быстро. Старый друг, школьный товарищ! Он еще издали махал рукой, кивал, улыбался редкими зубами; над старой заношенной курткой курчавились редеющие волосы. Дети у него были уже взрослые. Жена от него давно ушла, а снова жениться он не хотел. А у Игнатьева было все наоборот. Они радостно встречались, а расходились раздраженные, недовольные друг другом, но в следующий раз все повторялось сначала. И когда друг, запыхавшись, кивал Игнатьеву, пробираясь среди спорящих столиков, то в груди Игнатьева, в солнечном сплетении, поднимало голову Живое и тоже кивало и махало рукой.

Они взяли пиво и соленые сушки.

— Я в отчаянии, — говорил Игнатьев, — я просто в отчаянии. Я запутался. Как все сложно. Жена — она святая. Работу бросила, сидит с Валерочкой. Он болен, все время болен. Ножки плохо ходят. Маленький такой огарочек. Чуть теплится. Врачи, уколы, он их боится. Кричит. Я его плача слышать не могу. Ему главное — уход, ну, она просто выкладывается. Почернела вся. Ну а я домой идти просто не могу. Тоска. Жена мне в глаза не смотрит. Да и что толку? Валерочке «Репку» на ночь почитаю, все равно — тоска же. И все вранье, если уж репка засела — ее не вытащишь. Я-то знаю. Ана-

стасия... Звонишь, звонишь — ее дома нет. А если дома — о чем ей со мной говорить? О Валерочке? О службе? Плохо, понимаешь, — давит. Каждый день даю себе слово: завтра встану другим человеком, взбодрюсь, Анастасию забуду, заработаю кучу денег, вывезу Валерочку на юг... Квартиру отремонтирую, буду бегать по утрам... А ночью — тоска.

— Я не понимаю, — говорил друг, — ну что ты выкобениваешься? У всех примерно такие обстоятельства, в чем дело? Живем же как-то.

— Ты пойми: вот тут, — Игнатъев показывал на грудь, — живое, живое, оно болит!

— Ну и дурак, — друг чистил зуб спичкой. — Потому и болит, что живое. А ты как хотел?

— А я хочу, чтоб не болело. А мне вот тяжело. А я пот, представь себе, страдаю. И жена страдает, и Валерочка страдает, и Анастасия, наверное, тоже страдает и выключает телефон. И все мы мучаем друг друга.

— Ну и дурак. А ты не страдай.

— А я не могу.

— Ну и дурак. Подумаешь, мировой страдалец! Ты просто сам не хочешь быть здоровым, бодрым, подтянутым, не хочешь быть хозяином своей жизни.

— Я дошел до точки, — сказал Игнатъев, вцепился руками в волосы и тускло смотрел в измазанную пеной кружку.

— Баба ты. Упиваешься своими придуманными мучениями.

— Нет, не баба. Нет, не упиваюсь. Я болен и хочу быть здоровым.

— А коли так, отдай себе отчет: больной орган необходимо ампутировать. Как аппендикс.

Игнатъев поднял голову, изумился.

— То есть как?

— Я сказал.

— В каком смысле ампутировать?

— В медицинском. Сейчас это делают.

Друг оглянулся, понизил голос, стал объяснять: есть такой институт, это недалеко от Новослободской, так там это оперируют; конечно, пока это полуофициально, частным образом, но можно. Конечно, врачу надо дать на лапу. Люди выходят совершенно обновленные. Разве Игнатъев не слышал? На Западе это поставлено на широкую ногу, а у нас — из-под полы. Косность потому что. Бюрократизм.

Игнатъев слушал ошеломленный.

— Но они хотя бы... на собаках сначала экспериментировали?

Друг постучал себе по лбу.

— Ты думай, а потом говори. У собак *ее* нет. У них рефлексy. Учение Павлова.

— Ах, да...

Игнатъев задумался.

— Но ведь это ужасно!

— А чего тут ужасного. Великолепные результаты: необычайно обостряются мыслительные способности. Растет сила воли. Все idiotские бесплодные сомнения полностью прекращаются. Гармония тела и... э-э-э... мозга. Интеллект сияет как прожектор. Ты сразу намечаешь цель, бьешь без промаха и хватаешь высший приз. Да я ничего не говорю — что я, тебя заставляю? Не хочешь лечиться, ходи больной. Со своим унылым носом. И пусть твои женщины выключают телефон.

Игнатъев не обиделся, покачал головой: женщины, да...

— Женщине, чтоб ты знал, Игнатъев, будь она хоть Софи Лорен, надо говорить: пшла вон! Тогда и будет уважать. А так-то, конечно, ты не котируешься.

— Да как я ей такое скажу? Я преклоняюсь, трепещу...

— Во-во. Трепещи. Ты трепещи, а я пошел.

— Постой! Сиди. Еще пива возьмем. Слушай, а что, ты уже этих... оперированных видел?

— А то.

— А как они выглядят?

— Как, как! Как мы с тобой. Даже лучше. Все у них о'кэйчик, живут припеваючи, над нами, дураками, посмеиваются. Да вот у меня один кореш есть — я с ним в институте учился. Большой человек стал.

— Поглядеть бы, а?

— Поглядеть. Ну ладно, я спрошу. Я не знаю, захочет он? Я спрошу. Хотя, чего ему? Я думаю, не откажет. Подумаешь!

— А как его зовут?

— Н.

Лил дождь. Игнатьев шел по вечернему городу; красные, зеленые огни сменяли друг друга, пузырились на мостовых. Игнатьев нес в руке две копейки, чтобы позвонить Анастасии. Кто-то на «Жигулях» нарочно прокатил по луже, облил Игнатьева мутной волной, забрызгал брюки. С Игнатьевым такое случалось часто. «Ничего, вот прооперируюсь, — подумал Игнатьев, — куплю машину, сам буду всех обливать. Мстить за унижения равнодушным». Устыдился низких мыслей, покачал головой. Совсем я болен.

У автомата пришлось подождать. Сначала молодой мальчик что-то шептал с улыбкой в трубку. В ответ ему тоже долго шептали. Стоявший перед Игнатьевым смуглый низенький человек постучал монеткой в стекло: совесть надо иметь. Потом звонил он. У него, видно, была своя Анастасия, только звали ее Раиса. Низенький человек хотел жениться на ней, настаивал, кричал, прислонился лбом к холодному аппарату.

— Ну в чем же дело? — не понимал человек. — Ты мне можешь объяснить: в чем дело? Чего тебе не хватает? Скажи! Ты скажи! Да ты как сыр в ма... — он перехватил трубку другим ухом, — ты как сыр в масле будешь жить! Ну. Ну. — Он долго слушал, постукивал ногой. — Да у меня вся жилплощадь в коврах!!! Ну.

Ну. — Он опять долго слушал, растерялся, посмотрел в мерно гудящую трубку, вышел со злым лицом, со слезами на глазах, ушел в дождь. Игнатъевская сочувственная улыбка ему не понадобилась. Игнатъев заполз в теплое путро кабины, составил магическое число, но выполз ни с чем: долгие гудки не нашли отклика, растворились в холодном дожде, в холодном городе, под низкими холодными тучами. И Живое тоненько плакало в груди до утра.

Н. принял через неделю. Солидное учреждение, много табличек. Прочные, просторные коридоры, ковры. Из кабинета вышла заплаканная женщина. Игнатъев с другом толкнули крепкую дверь. Н. был человеком значительным: стол, пиджак, ну что говорить! Ты смотри, смотри! Золотая авторучка в кармашке, а какпе авторучки в гранитных цоколях на столе! Какие перекидные календари! А за клетчатыми стеклами шкафа угадывается редкий коньяк — и-ну!

Друг изложил суть дела. Заметно нервничал: хоть и учились вместе, но эти авторучки... Н. был ясен и краток. Собрать все возможные анализы. Рентген грудной клетки — в профиль и анфас. Направление в институт из районной поликлиники, причем не афишировать, цель указать: обследование. Ну а потом — в институт, врач Иванов. Да, Иванов! Приготовить сто пятьдесят рублей в конверте. Вот, собственно, и все. Я действовал так. Может быть, есть другие пути, не знаю.

Да, быстро и безболезненно. Я доволен.

— Ее, значит, вырезают?

— Я бы сказал — вырывают. Экстрагируют. Чисто, гигиенично.

— А после... вы ее видели? После экстракции?

— А зачем?!

Н. оскорбился. Друг толкал Игнатъева ногой: неприличные вопросы!

— Ну, знать, какая она была, — смутился Игнатъев. — Все-таки...

— А кому это может быть интересно? Простите... — Н. сдвинул краешек рукава: выглянуло массивное золотое времяхранилище. И ремешок дорогой. Ты видел, заметил?.. Аудиенция окончена.

— Ну как ты? Что? — заглядывал в лицо друг, пока шли по ветреной набережной. — Убедил? Ты что думаешь?

— Не знаю еще. Страшно все-таки.

В черных речных волнах плясали огни фонарей. Опять подбиралась тоска, вечерняя подруга. Выглядывала из-за водосточной трубы, перебегала мокрую мостовую, шла, смешавшись с толпой, неотступно следила, ждала, когда Игнатъев останется один. Окна зажигались в высоте — одно за другим.

— Совсем ты плох, Игнатъев. Решайся. Дело стоящее.

— Понимаешь, страшно. И так — плохо, и так — страшно. Я все думаю, а что потом? После — что? Смерть?

— Жизнь, Игнатъев! Жизнь! Здоровая, полноценная жизнь, а не куриное копанье! Карьера. Успех. Спорт. Женщины. Прочь комплексы, прочь занудство! Ты посмотри на себя: на кого ты похож? Нытик. Трус! Будь мужчиной, Игнатъев! Мужчиной! Тогда тебя и женщины любить будут. А так — кто ты? Тряпка!

Да, женщины. Игнатъев нарисовал Анастасию и затосковал. Вспомнил, как она стояла прошлым летом, близко наклонившись к зеркалу, вся светлая, полная, откинув русые волосы, мазалась морковной помадой и, растянув губы в удобную косметическую позицию, толчками говорила, приостанавливаясь:

«Сомнительно. Чтобы ты. Игнатъев. Был мужчиной. Потому что мужчины. Они. Решительные. И-между-прочим-смени-эту-рубашку-если-ты-вообще-на-что-то-рассчи-

тываешь». И красное платье на ней горело приворотным цветком.

И Игнатьев устыдился своей шелковой чайного цвета рубашки с короткими рукавами, которую носил еще его папа — хорошая вещь, без сносу; он в ней и женился, и встречал Валерика из роддома. Но если между нами и любимой женщиной встает рубашка, будь она хоть бриллиантовая — мы ее сожжем. И он сжег. И ненадолго это помогло. И Анастасия его любила. А теперь она пьет красное вино с другими и смеется в одном из зажженных окон этого огромного города, а он не знает, в каком, но в каждом, в каждом ищет ее силуэт. И не ему, а другим, передернув плечами под кружевной шалью, на втором, на седьмом, на шестнадцатом этаже говорит она бессовестные слова: «Правда, я очень мила?»

Игнатьев сжег чайную отцовскую рубашку — пепел ее по ночам осыпает постель, пригоршнями пересыпает его тоска, тихо сеет через полуразжатый кулак. Только слабые жалеют о напрасных жертвах. Он будет сильным. Он сожжет все, что воздвигает преграды. Он заарканит, приторочит к седлу, приручит уклончивую, ускользящую Анастасию. Он приподымет землистое, опущенное лицо дорогой, измученной жены. Противоречия не будут разрывать его. Ясно, справедливо уравновесятся достойные. Вот твое место, жена. Владей. Вот твое место, Анастасия. Цари. Улыбнись и ты, маленький Валерик. Твои ножки окрепнут, и желёзки пройдут, ибо папа любит тебя, бледный городской картофельный росточек. Папа станет богатым, с авторучками. Он позовет дорогих докторов в золотых очках, с кожаными саквояжами. Бережно передавая тебя с рук на руки, они понесут тебя к фруктовым берегам вечно синего моря, и лимонный, апельсинный ветерок сдует темные круги с твоих глаз. Кто это идет, стройный, как кедр, крепкий, как сталь, пружинистыми шагами, не знающий постыдных сомнений? Это идет Игнатьев. Путь его прям, заработок высок, взгляд уверен, женщины смотрят ему вслед. Пшли вон!.. По зеленому

ковру, в красном платье плывет навстречу, кивает через туман Анастасия, улыбается бессовестной улыбкой.

— Во всяком случае, надо начать собирать справки, — сказал Игнатъев. — Это канитель надолго. А там видно будет.

У Игнатъева был талончик на одиннадцать, но он решил прийти пораньше. За окном кухни щебетало летнее утро. Поливальные машины радужными веерами распыляли короткую прохладу, в путаных клубах деревьев попискивало, попрѣгивало Живое. За спиной сквозила сквозь кисею полусонная ночь, перебежали шепоты тоски, туманные картины неблагополучия, мерный плеск волн на тусклом пустынном берегу, низкие, низкие тучи. Молчаливая церемония завтрака состоялась на уголке клеенки — старый обряд, но смысл забыт, цель утеряна, остались лишь механические движения, знаки, сакральные формулы утраченного языка, уже непонятного и самим жрецам. Изможденное лицо жены опущено. Время давно сорвало розовую пыльцу юности с тысячелетних щек, и ветвистые борозды... Игнатъев поднял ладонь, скруглил ковшом — приласкать пергаментные пряди волос дорогой мумии — но рука встретила лишь холод саркофага. Скалистая изморозь, звяканье сбруи одинокого верблюда, озеро, промерзшее до дна. Она не подняла лица, не подняла глаз. Сморщенный коричневый живот мумии высох, ввалился, вспоротое подреберье наполнено бальзамическими смолами, нашпиговано сухими пучками трав, Осирис молчит; сухие члены туго спеленуты узкими льняными полосами, испещренными синими значками — змейками, орлами и крестиками — хитрым, мелким пометом ибисоголового Тота.

Ты еще ничего не знаешь, дорогая, но потерпи, ответят несколько часов — и пути лопнут, и стеклянный шар уныния раздетится вдребезги, в мелкие, брызнувшие дребезги, и новый, сияющий, блистательный, звенящий

как струна Игнатъев под бум и трам барабанов и пронзительные вскрики фригийских дудок — мудрый, цельный, совершенный — въедет на белом парадном слоне, в ковровой беседке под цветочными опахалами. И ты встанешь по правую руку, а по левую — ближе к сердцу — Анастасия, и беленький Валерик улыбнется, и протянет ручки, а могучий слон преклонит колена, и мягко покачает его добрым разрисованным хоботом, и передаст Игнатъеву в сильные руки, и Игнатъев вознесет его над миром — маленького властелина, упоенного высотой, — и завопят восхищенные народы: се — человек! Се — Властелин, от моря и до моря, от края и до края, до сияющего купола, до голубого, загнутого ободка золотой, зеленой чаши земной!

Игнатъев пришел загодя, в коридоре перед кабинетом было пустынно, лишь маялся нервный блондин — тот, что пойдет перед Игнатъевым, в десять. Жалкий, с бегающим взглядом блондин, грызущий ногти, откусывающий заусенцы, сутулящийся, то присаживающийся, то вскакивающий, то внимательно изучающий светящиеся четырехгранные разноцветные фонари с поучительными медицинскими историями: «Немытые овощи опасны». «У Глеба болел зуб». «И глаз пришлось удалить». (Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его.) «Больному дизентерией обеспечьте отдельную посуду». «Чаще проветривайте помещение». Над дверью загорелась приглашающая надпись, блондин тихо завыл, ощупал карманы, шагнул за порог. Жалкий, жалкий, ничтожный! Я точно такой же. Время побежало. Игнатъев ерзал, нюхал лекарственный воздух, пошел смотреть педагогические фонари; история Глеба его заинтересовала. Большой зуб мучил Глеба, но потом как-то отпустил, и Глеб, повеселев, в лыжном костюме играл в шахматы со школьным товарищем. Но от судьбы не уйдешь. И Глеб познал горшие муки, и обвязал лицо свое, и день его обратился в ночь, и он пошел к мудрому, строгому врачу, и тот облегчил его страдания — вырвал больной зуб и бросил его, и

Глеб, преображенный, счастливо улыбался в последнем, нижнем светящемся окошечке, а врач наставительно поднимал палец и завещал древнюю мудрость грядущим поколениям.

Сзади послышался перестук каталки, глухие стоны — и две пожилые женщины в белых халатах провезли корчащееся, безымянное тело, все в присохших кровавых бинтах — и лицо, и грудь, — только рот черным мычащим провалом — блондин?.. Не может быть... Позади шла медсестра с капельницей, нахмуренная, остановилась, заметив немые отчаянные взмахи Игнатьева. Игнатьев напрягся, вспомнил язык людей:

— Блондин?

— Что вы говорите, не поняла?

— Блондин, Иванов?.. Тоже, это? Ему?.. Вырвали, да?

Медсестра невесело засмеялась.

— Нет, ему пересадили. Вам удалят, другому пересадят. Не волнуйтесь. Это стационарный больной.

— Ах, значит, наоборот тоже делают? А почему такой...

— Не жилец. Не живут они. Подписку берем перед операцией. Бесполезно. Не выживают.

— Отторжение? Иммунная система? — щегольнул Игнатьев.

— Обширный инфаркт.

— Почему?

— Не выдерживают. Они ж такими родились, всю жизнь прожили, знать не знали, что она за штука такая — и вдруг нате — сделайте им пересадку. Мода такая пошла, что ли. В очереди стоят, переключки раз в месяц. Доноров не хватает.

— А я, стало быть, донор?

Медсестра засмеялась, подхватила капельницу, ушла. Игнатьев размышлял. Вот как у них тут. Экспериментальный институт, да-да-да... Дверь кабинета Иванова

распахнулась, чеканным шагом вышел некто белокурый, надменный, идущий напролом; Игнатъев шарахнулся, чтобы не быть сбитым, проводил зачарованным взглядом — блондин... Супермен, мечта, идеал, атлет, победитель! А надпись над дверью уже нетерпеливо мигала, и Игнатъев переступил порог, и Живое царь-колоколом било и гудело в его трепещущей груди.

— Минутку посидите.

Доктор, профессор Иванов, что-то дописывал в карточке. Всегда они так: вызовут, а сами не готовы. Игнатъев сел и облизал сухие губы. Обвел глазами кабинет. Кресло вроде зубного, наркозный аппарат с двумя серебристыми баллонами, манометр. Там — шкаф полированный, с мелкими сувенирами от пациентов, безобидными, неподсудными пустячками: пластмассовые модельки первых автомобилей, фарфоровые птички. Смешно, что в таком кабинете, где делаются такие дела, — фарфоровые птички. Доктор писал и писал, и неловкая тишина сгущалась, только скрипело перо, и звякающая сбуру одинокого черного верблюда, и окоченевший всадник, и промерзшая равнина... Игнатъев сжимал руки, чтобы унять дрожь, водил глазами по сторонам: все обычное; приоткрыты створки старого окна, там, за белой масляной рамой — лето.

Теплые, уже пыльные листья пышной липы плескались, перешептывались, сговаривались о чем-то, сбившись в зеленую переплетенную кучу, хихикали, подсказывали друг другу, уславливались: а давайте так? а еще можно вот что; ловко придумано; ну все, значит, договорились, это наш секрет, ладно? смотрите, не выдавать! И вдруг, согласно затрепетав душистой толпой, возбужденные объединившей их тайной, — замечательной, веселой, теплой летней гайной, — с шумом рванулись, окликаая соседний бормотавший тополь — отгадай, отгадай! Твоя очередь отгадывать! И смущенно качнулся шатер тополя,

пойманный врасплох, задвигался, забормотал, отшатнулся: что вы, что вы, не все сразу; успокойтесь, я уже стар, как вы расшалились! Засмеялись, переглядываясь, легкомысленные зеленые жители липы: мы так и знали! И одни от смеха свалились с дерева в нагретую пыль, а другие всплеснули руками, а третьи ничего не заметили, и снова все вместе зашептались, выдумывая новую игру. Играйте, мальчики, играйте, девочки! Смейся, целуйся, живи, недолговечный зеленый городок! Лето еще пляшет, еще свежи его нарядные цветочные юбки, на часах еще полдень: стрелки торжествующе взметнулись вверх! Но приговор уже вынесен, разрешение получено, бумаги подписаны. Равнодушный палач — северный ветер — надвинул на глаза белую маску, уложил холодную секиру, готовый пуститься в путь. Старость, разорение, гибель — неотвратимы. И близок тот час, когда на голых ветвях — там и сям — останется лишь щепотка промерзших, скукоженных, недоумевающих сухариков, тысячетлетние борозды на их скорбных землистых лицах... Порыв ветра, взмах секиры — и они... Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, думал Игнатьев. Не удержать лето слабыми руками, не предотвратить распада, рушатся пирамиды, трещина пролегла через мое трепещущее сердце, и ужас бесплодных мучений свидетеля... Нет. Я выхожу из игры. Волшебными ножницами я разрежу заколдованное кольцо и выйду за предел. Оковы падут, сухой бумажный кокон лопнет, и изумленная новизной синего, золотого, чистейшего мира, легчайшая резная бабочка вспорхнет, охорашиваясь...

Доставайте же свой скальпель, нож, серп, что там у вас принято, доктор, окажите благодеяние, отсекайте ветвь, еще цветущую, но уже неотвратимо гибнущую, и бросьте в очищающий огонь.

Доктор, не поднимая головы, протянул руку — Игнатьев поспешно, стесняясь, боясь сделать не так, сунул ворох справок, направлений, пленок с рентгенограммами и конверт со ста пятьюдесятью рублями — на конверте

несвоевременный Дед Мороз вез в расписных розвальнях мешки с подарками детишкам. Игнатьев стал смотреть и увидел доктора. На голове его уступчатым конусом сидела шапочка — белая в синюю полоску тиара, крахмальный зиккурат. Смуглое лицо, глаза опущены на бумаги, и мощно, водопадно, страшно — от ушей до пояса вниз — четырьмя ярусами, сорока спиральями закручивалась синяя жесткая ассирийская борода — густые колечки, смоляные пружины, ночной гиацинт. Я, Врач Врачей, Иванов.

«Какой же он Иванов...» — ужаснулся Игнатьев. Ассириец взял пальцами конверт с Дедом Морозом, приподнял за уголок, спросил: «Это что?» — и поднял глаза.

Глаз у него не было.

Из пустых глазниц веяло черным провалом в никуда, подземным ходом в иные миры, на окраины мертвых морей тьмы. И туда нужно было идти.

Глаз не было, но взгляд был. И он смотрел на Игнатьева.

— Что это такое? — повторил ассириец.

— Деньги, — шевельнул буквы Игнатьев.

— Зачем.

— Я это хотел... сказали... за операцию, я не знаю. Вы берете. (Игнатьев ужаснулся себе.) Мне сказали, я хотел. Мне говорили, я справки.

— Хорошо.

Профессор открыл ящик, смахнул румяного Деда Мороза с подарками Валерику, тиара качнулась на голове.

— А вам хирургическое вмешательство показано?

Что показано? Показано! А разве не всем показано? Я не знаю! Там справки, много цифр, всякого... Доктор опустил веки к бумагам, перебирал справки, хорошие, надежные справки, с ясными лиловыми печатями: все проекции конуса — и окружность и треугольник — тут; все пифагорейские символы, тайная кабалистика медицины.

закулисная мистика Ордена. Чистый, хирургический ноготь профессора пополз по графам: тромбоциты... эритроциты... Игнатьев ревниво следил за ногтем, мысленно подталкивал его: не надо задерживаться, все хорошо, хорошие цифры, крепкие, ясные, каленые орехи. Втайне горжусь: великолепные, здоровые нули, без червоточин; отлично сбитые табуретки четверок, чисто промытые очки восьмерок, все подходит, годится, удовлетворяет. Показана операция. Показана. Ассириец задержал палец. Что такое?! Что-то не то? Игнатьев всполошился, вытянул шею, беспокойно смотрел. Доктор, вам эта двочка не нравится? Действительно, вы правы, хе-хе, это не совсем... маленькая такая гнильда, я согласен, это случайно, не обращайтесь внимания, вы дальше, дальше смотрите, там-то какие шестерки рассыпались армянским виноградом! Что, тоже нехорошо?.. Погодите, давайте разберемся! Ассириец сдвинул палец с мертвой точки, доехал до низу, полистал другие бумажки, сформовал аккуратную кипу, сколол скрепкой. Достал рентгеновский снимок грудной клетки Игнатьева, долго смотрел на свет. Присоединил. Кажется, согласен, подумал Игнатьев. А в сердце сквознячком гуляла тревога, приоткрывала дверь, пошевеливала портьеры. Но и это пройдет. Вернее: это-то и пройдет. Знать бы, как это будет потом. Мое бедное сердце, еще шелестят твои яблоневые сады. Еще пчелы, жужжа, копаются в розовых цветах, отягощенных густой пылью. Но уже сгустилось на вечернем небе, уже затихло в воздухе, уже точат блестящий обоюдоострый топор. Не надо бояться. Не смотрите. Закройте глаза. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет очень хорошо.

Интересно, а сам доктор — он как, подвергся?.. Спросить? А что, спрошу. Нет, страшно. Страшно, и неприлично, и, может быть, сразу испортишь все дело. Спросишь — робко шелестнешь пересохшим языком, принужденно улыбаясь, заискивающе заглядывая в кошмарный мрак, что зияет вселенским провалом меж верхним и

нижним его веками, тщетно пытаюсь опереться взглядом, найти спасительную, человеческую точку, найти хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь — ну пускай не привет, не улыбку, — нет-нет, я понимаю, пускай презрение, брезгливость, даже отвращение, ну хоть ответ, хоть проблеск, хоть знак, кто-нибудь, шевельнитесь, махните рукой, вы меня слышите?.. Там кто-нибудь есть?.. Я шарю в темноте руками, я нащупал тьму — она густая; я ничего не вижу, я боюсь поскользнуться, упасть, но куда падать, если нет под ногами дороги? Я тут один. Я боюсь. Живое, ты есть?.. Доктор, извините, пожалуйста, я вас беспокою, тут один вопрос: скажите, а Живое там есть?

Словно предчувствуя что-то, в груди то сжималось, то металось, то садилось на корточки, зажмурясь, закрыв руками голову. Потерпи. Так лучше для всех.

Ассириец еще раз дал заглянуть в глухие беззвездные ямы.

— В кресло сядьте, пожалуйста.

А что, и сяду, что такого, вот возьму и сяду, небрежно так. Игнатъев разместился в кожаном полулежачем кресле. К рукам и ногам пристегнуты резиновые ремни. Сбоку — шланг, баллоны, манометр.

— Наркоз общий?

Профессор что-то делал на столе, повернувшись спиной, отвечал нехотя, не сразу.

— Да, общий. Удалим, почистим, канал запломбируем.

«Как про зуб», — подумал Игнатъев. Его стало бить трусливой дрожью. Какие неприятные слова. Спокойно, спокойно. Веди себя по-мужски. В чем дело? Спокойно! Это же не зуб. Ни крови, ничего.

Доктор выбрал нужный лоток. Там позвякивало. Щипчиками достал и положил на низкий столик, на стеклянный медицинский квадратик длинную, тонкую, отвратительно тонкую, тоньше комариного писка иглу. Игнатъ-

ев беспокойно скосил глаза. Знать назначение этих вещей было ужасно, но не знать — еще хуже.

— Это что?

— Это экстрактор.

— Такой маленький? Я не думал.

— А она у вас, по-вашему, большая? — с раздражением сказал ассириец. И сунул ему под нос рентгеновский снимок, на котором ничего, кроме туманных пятен, нельзя было различить. Он уже надел резиновые перчатки, плотно обтянувшие кисти и запястья, изогнутым пинцетом копался в блестящих кривых иглах, мерзко сужающихся щупах, вытаскивал нечто: пародию на ножницы с щучьей пастью. Резиновым пальцем ассириец почесал бороду. Игнатьев подумал, что доктор нарушил стерильность, и робко заметил это вслух.

— Какая стерильность? — профессор поднял веки. — Я надеваю перчатки, чтобы не запачкать рук.

Игнатьев слабо, понимающе улыбнулся. Правда, мало ли, и больные ходят... Он вдруг понял, что не знает, как будут ее вытаскивать: через рот? Через нос? Может быть, сделают разрез на груди? Или в той ямке между ключиц, где днем и ночью мягко тукает: то заспешит, то замедлит свой беспокойный бег?

— Доктор, а как...

— Не разговаривать! — вдруг вскинулся ассириец. — Молчать! Закрывать рот. Слушать только меня. Смотреть мне в переносицу! Считать про себя до двадцати: раз, два...

Нос, рот, синяя борода его были плотно укутаны в белое. Между белым намордником и полосатой тиарой из глазниц смотрела бездна. Посреди двух провалов в ничто — переносица: пучок синих волосков на осыпающемся горном хребте. Игнатьев стал смотреть, холодея. А сбоку уже придвинулась наркозная кишка. Хобот, и из него сладко-сладко, ужасно веет загробным дыханием. Зависла над лицом; Игнатьев забился, но замер, скованный резиновыми путами, подавил последние запоздалые сомне-

ния — они брызнули во все стороны. Краем глаза увидел, как прильнула к окну, прощаясь, рыдая, застывая белый свет, преданная им подруга — тоска, — и уже почти добровольно вдохнул пронзительный, сладкий запах цветущего небытия, и раз, и два, и еще, не отводя глаз от ассирийских пустот.

И вот там, в глубине глазниц, в потусторонних ущельях забрезжил свет, вымостился путь, проступили ижицы черных, опаленных ветвей — и Игнатьева мягким толчком высосало из кресла, вперед и вверх ботинками, и бросило туда, на дорогу, и уже торопясь — семь, восемь, девять, десять, пропадая, — побежал по каменным плитам почти уже не существующими ногами. И ахнуло за спиной Живое, и лягнула решетка, и дикий, горестный вопль Анастасии...

И жаль, жаль, жаль, жаль, жаль остающихся, и не остановиться, и я бегу вверх, и, накренясь, пронесся дачный перрон, и на нем мама и я — маленьким мальчиком, нет, это Валерик — обернулись, разевают рты, кричат, но не слышно, Валерик поднял ручку, что-то зажат в кулачке, ветер рвет волосы...

Звон в ушах, темнота, звон, небытие.

Игнатьев — Игнатьев? — медленно всплыл со дна, раздвигая головой мягкие темные тряпки, — это было матерчатое озеро.

Он лежал в кресле, ремни отстегнуты, во рту сухо, кружилась голова. В груди — приятное, спокойное тепло. Хорошо!

Бородач в белом халате записывал что-то в медицинскую карточку. Игнатьев вспомнил, зачем он здесь — так, пустяковая амбулаторная операция, надо было убрать эту, как ее? — забыл слово. Ну и фиг с ней. Общий наркоз — конечно, по блату. Не слабо.

— Ну что, док, я могу мотать? — спросил Игнатьев.

— Пять минут посидите, — сухо сказал бородатый. Ишь, раскомандовался.

— Все мне сделал, без дураков?

— Все.

— Смотри, если твоя фирма схалтурила, так я свои денежки из тебя назад вытрясу, — пошутил Игнатъев.

Доктор поднял взгляд от бумаг. Ну, это — ващё, финиш, офигеть можно. Вместо глаз — дырки.

— Ты чё, шеф, гляделки посеял? — засмеялся Игнатъев. Ему понравился новый собственный смех — вроде визгливого лая. Такой доходчивый очень. — Ну, ты, шеф, даешь! Я в отпаде. Не споткнись, когда к бабам пойдешь.

Приятно чувствовать тупой пяточок в солнечном сплетении. Все хорэ.

— Ну ладно, борода, я почапал. Давай пять. Будь.

Хлопнул доктора по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потертых ступеней, лихо заворачивая на площадках. Сколько дел — это ж ё моё! И всё удастся. Игнатъев засмеялся. Солнце светит. По улицам бабцы шлёндрают. Клёвые. Ща быстро к Настьке. Штоб нишкнула! Сначала он, конечно, пошутит. Он уже придумал новые, хорошие остроты — голова-то быстро работает. «Дурак красное любит», — скажет он. И еще: «Держи хвост пистолетом». Тоже Игнатъев придумал. А на прощанье скажет: «Будь здоров, не кашляй». Он теперь такой остряк, Игнатъев; не, я серьезно, без балды. Душа общества, ващё.

Ща в собес или куда следует? Не, собес после, а ща написать куда следует и просигнализировать кому положено, что врач, называющий себя Иванов, берет взятки. Написать подробно, да так это с юморком: дескать, глаз нет, а денюжки ви-идит! И куда это смотрят те, кому положено?

А потом уж в собес. Так и так, не могу больше дома держать этого недоноска. Антисанитария, понимаешь. Извольте обеспечить интернат. Будут кобениться, при-

дется дать на лапу. Эт уж как заведено. Эт в порядке вещей.

Игнатъев толкнул дверь почты.

— Что вам? — спросила кудрявая девушка.

— Чистый лист, — сказал Игнатъев. — Просто чистый лист.

ОГОНЬ И ПЫЛЬ

Интересно, где теперь безумная Светлана по прозвищу Пипка, та, про которую одни с беспечностью молодости говорили: «Да разве Пипка — человек?», а другие возмущались: «Что вы ее к себе пускаете? Книжки бы поберегли! Она же все растащит!» Нет, они были не правы: всего-то и числится на Пипкиной совести, что светло-спиний Сименон да белая шерстяная кофточка с вязаными пуговчиками, да и у той локоть был уже питопаный. И бог с ней, с кофточкой! Куда большие ценности улетучились с той поры: Риммина сияющая молодость, детство ее детей, свежесть надежд, голубых, как утреннее небо; тайное, радостное доверие, с каким Римма вслушивалась в шептавший для нее одной голос будущего — уж какие только венки, цветы, острова и радуги ей не были обещаны, и где все это? А кофточку не жаль, Римма сама слишком всунула Светлану в эту мало нужную кофточку, когда выталкивала ее, безумную, как всегда полураздетую, в осеннее бушевание, в холодную, мотавшую ветвями московскую полночь. Римма, уже в ночной рубашке, нетерпеливо переминалась на пороге, поджимая зябнущие ноги, поспешно кивала, наступая, выпроваживая Светлану, а та все пыталась что-то договорить, досказать — с нервным хохотком, с быстрым пожиманием плеч, и на белом и миловидном ее лице безумным провалом горели черные глаза, и мокрый провал рта бубнил торопливым трепетом, — ужасный черный рот, где пеньки зубов наводили на мысли о застарелом пожарище. Римма наступала, отвоевывая пядь за пядью, а Светлана говорила-говорила, говорила-говорила, махая во все стороны руками, будто делая зарядку — позднюю, ночную, невозможную, и тут, изображая огромный размер чего-то, — а Римма не слушала, — так размахнулась, что разбила костяшки пальцев о стенку и на мгновение удивленно замолчала, прижав солоноватые суставы к губам, к опаленному бессвязными реча-

ми рту. В этот момент и была ей сунута вязаная кофточка: в такси согреешься, — дверь хлопнула, и Римма, досадуя и смеясь, побежала к Феде под теплое одеяло. «Насилу выпроводила». Дети ворочались во сне. Завтра рано вставать. «Ну и оставила бы ее почевать», — бормотал Федя сквозь сон, сквозь тепло, и очень он был красивый в красном свете ночника. Ночевать? Вот уж никогда! И где? В комнате старичка Ашкенази? Старичок все ворочался у себя на прохудившемся диване, курил густое и вонючее, кашлял, среди ночи ходил на кухню попить воды из-под крана, но в общем ничего, не раздражал. Когда собирались гости, одалживал стулья, выносил баночку маринованных грибков, детям отклеивал колтун слипшихся леденцов из жестянки; его сажали за стол, с краю, и он посмеивался, болтал ногами, не достававшими до пола, покуривал в кулачок: «Ничего, молодежь, терпите: скоро помру, вся квартира ваша будет». — «Живите до ста лет, Давид Данилыч», — успокаивала Римма, а все-таки приятно было помечтать о том времени, когда она станет хозяйкой целой квартиры, не коммунальной, собственной, сделает большой ремонт, неслепую пятиугольную кухню покроет сверху донизу кафелем и плитку сменит. Федя защитит диссертацию, дети пойдут в школу, английский, музыка, фигурное катание... ну что бы еще представить? Им многие заранее завидовали. Но, конечно, не кафель, не хорошо развитые дети сияли из просторов будущего цветным радужным огнем, искристой аркой бешеного восторга (и Римма честно желала старичку Ашкенази долгих лет жизни: все успеется); нет, что-то большее, что-то совсем другое, важное, тревожное и великое шумело и сверкало впереди, будто Риммин челн, плывущий темной протокой сквозь зацветающие камыши, вот-вот должно было вынести в зеленый, счастливый, бушующий океан.

А пока жизнь шла не совсем настоящая, жизнь в ожидании, жизнь на чемоданах, небрежная, легкая — с кучей хлама в коридоре, с полуночными гостями: Петю-

ня в небесном галстукe, бездетные Эля с Алешей, еще кто-то; с ночными Пипкиными визитами и дикими ее разговорами. Уж на что она была страшна, Пипка, с этими черными озубышами, а ведь многим нравилась, и часто к концу веселого вечера одного из мужчин не досчитывались: Пипка под шумок увозила его — всегда на такси — к себе в Перловку. Там она ютилась, снимала по дешёвке деревянную хибарку с палисадничком. Римма одно время даже опасалась за Федю — он был легкомысленным, а Пипка — сумасшедшей и способной на все. Если бы не эти гнильцы в ее торопливом рту, впору было бы призадуматься и не пускать ее в семейный дом. Тем более что Федя загадочно говаривал: «Если бы Светланка не разевала рта, с ней можно было бы и поболтать!..» И вечно-то она дрожала, полуодетая, или одетая не с того конца: на босу ногу — детские задубелые ботиночки среди зимы, руки — красные, в цыпках.

Неизвестно, куда подевалась Пипка, как неизвестно, откуда она вообще взялась — возникла, и все тут. Рассказы ее были дики и путаны: будто она хотела поступить в театральное училище и даже была принята, но на рынке познакомилась с торговцами моченой черемшой и была увезена с кляпом во рту на белой «Волге» без номеров в Баку. Там над ней будто надругались, выбили половину зубов и бросили голую на берегу моря в луже нефти; наутро ее якобы нашел дикий горец, ехавший через Баку транзитом, увез в свою высокогорную саклю и продержал там все лето, кормя ее сквозь щели хижины дыней с ножа, а осенью обменял на часы без стрелок заезжему этнографу. С этнографом, называвшим ее Светка-Пипетка, откуда в общем-то и прозвище, она, все еще совершенно голая, ютилась в заброшенной дозорной башне времен Шамиля, устланной гнилыми персидскими коврами, — этнограф изучал узоры через лупу. По ночам на них гадили орлы. «Кыш, кыш, проклятые!» — изображала Пипка, гоняясь по комнате с возмущенным лицом, пугая детей. К зиме этнограф ушел выше в горы, а Свет-

лана по первому снежку спустилась в долину, где счет времени вели по лунному календарю, а в учительниц стреляли через окно школы, причем количество убитых принародно отмечали зарубками на столбе посередь базарной площади. Зарубок было больше восьмисот, роно не справлялось, несколько пединститутов работали исключительно на долину. Там Светлана завела роман с завмагом. Но быстро бросила его, сочтя недостаточно мужественным: вместо того, чтобы спать, как полагается джигиту, на спине, с саблей и в папахе, свирепо развернув широкие мускулистые плечи, завмаг свертывался калачиком, посапывал носом и скулил во сне, перебирая ногами: объяснял, оправдываясь, что ему снятся выстрелы. К весне Пипка дошла до Москвы, ночуя в стогах и избегая большаков, несколько раз ее поели собаки. Шла она почему-то через Урал. Впрочем, география давалась ей еще хуже, чем интимная жизнь: Уралом она называла Кавказ, а Баку располагала на Черном море. Может быть, и была какая-то правда в ее кошмарных рассказах, кто знает. Римма привыкла и почти не слушала, думая о своем, предаваясь своим неторопливым мечтаниям. Да ее почти никто и не слушал, Пипку, разве она была человеком? Только иногда кто-нибудь новенький из гостей, прислушавшись к Пипкиной чертовщине, к извергаемым фонтаном сюжетам, изумленно и радостно восклицал: «Ну дает! Тысяча и одна ночь!» — такого обычно и увозила Пипка в свою полуфантастическую Перловку, если таковая вообще существовала: можно ли поверить, что Светлана нанялась к хозяевам окапывать георгины, а ела вместе с курами рыбную муку? Как всегда, на Римму посреди незатейливого застолья, под шум болтовни и звяканье вилок, вдруг наваливалась мечтательная дремота, дивные сновидения наяву, виделись розовые и голубые туманы, белые паруса, слышался гул океана, далекий и манящий, как тот ровный гул, что исходил из огромной раковины, украшавшей сервант. Римма любила закрыть глаза и приложить раковину к уху — тогда из чудовищ-

ной, лососевого цвета пасти слышался зов далекой страны, такой далекой, что ей уже и на глобусе не находилось места, и она плавно приподнималась, эта страна, и располагалась в небе со всеми своими озерами, попугаями и прибрежным прибоем. И Римма тоже парила в небе среди розовых перистых облачков — все, что жизнью обещано, сбудется. Не надо шевелиться, не надо торопиться, все придет само. Тихо плыть по темным протокам... слушать приближающийся шум океана... Римма открывала глаза и смотрела, улыбаясь, сквозь табачный дым и мечты на гостей, на ленивого, довольного Федю, на болтающего ножками Давида Данилыча, медленно опускалась на землю. А начнется с малого... начнется понемногу... Ослабевшими от полета ногами она нащупывала почву. О, сначала все-таки квартира. В комнате старичка будет спальня. Голубые шторы. Нет, белые. Белые, шелковые, пышные, сборчатые. И кровать белая. Воскресное утро. Римма в белом пеньюаре, с распущенными волосами (волосы нужно начать отращивать, а пеньюар уже тайно куплен: не удержалась...) пройдет по квартире на кухню... Пахнет кофе... Новым знакомым она будет говорить: «А вот в этой комнате, где теперь спальня, раньше жил старичок... Такой милый... Совсем не мешал. А после его смерти мы заняли... Жалко: такой чудесный старичок!» Римма раскачивалась на стуле, улыбалась еще живому старичку: «Много курите, Давид Данилыч. Поберегли бы себя». Старичок только кашлял и рукой махал: ничего, мол. Не жилец уже. Чего там.

Как приятно было плыть и струиться сквозь время — а время струится сквозь тебя и тает позади; а шум моря все манит; надо съездить на юг и вдохнуть морской запах, и постоять на берегу, раскинув руки и слушая ветер; как сладко тает жизнь — дети, и любящий Федя, и ожидание белой спальни. Гости завидуют, да, милые мои, завидуйте, огромное счастье ждет меня впереди, какое — не скажу, не знаю сама, но голоса шепчут: жди, жди!

Вон Петюня сидит и завидует, и грызет ногти. У него нет ни жены, ни квартиры, он хилый, честолюбивый, он хочет быть журналистом, он любит яркие галстуки, надо подарить ему наш, оранжевый, нам он не нужен, нас ждет счастье. Вон Эля с Алешей тоже завидуют, у них нет детей, они завели собаку, какая скука. Вон старичок Ашкенази сидит, завидует моей молодости, моей белой спальне, моему океанскому шуму; прощай, старичок, тебе скоро уходить, зажмурив глаза под медными пятками. Вот Светлана... она-то не завидует никому, у нее есть все, да только придуманное, глаза ее и страшный рот горят пожаром — отсадить Федю подальше — речь безумна, десятки царств воздвигаются и рушатся в ее голове за один вечер. Отсадить Федю подальше. Федя! Сядь-ка сюда. Она завралась, а ты и уши развесил?

Весело жилось и легко, посмеивались над Петюней, над его страстью к галстукам, прочили ему большое журналистское будущее, заранее просили не зазнаваться, если поедет за границу; Петюня смущался, морщил мышиное личико: да что вы, ребята, дай бог институт кончить! Славный был Петюня, но жеваный какой-то, а еще пытался за Риммой ухаживать, правда, косвенно: резал для нее на кухне лук и намекал, что у него, честно говоря, планы на жизнь — ого-го! Римма смеялась: какие планы, ее саму ждет такое! Поухаживай лучше за Элей, она все равно Алешу бросит. Или вон за Светкой-Пипеткой. Пипетка замуж собралась, говорил Петюня. За кого же, интересно знать?

Вскоре открылось, за кого: за старичка Ашкенази. Старичок, жалея Пипкины ножки в детских ботиночках, озябшие ручки, сокрушаясь о ее тратах на ночные такси, да и вообще поддавшись слезливому старческому альтруизму, задумал — за Римминой спиной! — жениться на пылающей черным огнем бродяжке и прописать ее, естественно, на обещанную Римме с Федей жилплощадь. Состоялся скандал с валидолом. «Стыдитесь! Стыдитесь!» — кричала Римма сорванным голосом. «А нечего

мне стыдиться», — отвечал старик с дивана, лежа среди рваных пружин с запрокинутой головой, чтобы остановить кровь из носа. Римма ставила старику холодные компрессы и продежурила всю ночь у его постели. Когда старик забылся, тонко и прерывисто дыша, — обмерила окно в его комнате. Да, белый материал по ширине пройдет. Сюда обойчики голубые. Утром мирились, Римма простила старика, он плакал, она подарила ему Федину рубашку и дала горячих оладьев. Светлана что-то узнала и долго не появлялась. Потом пропал и Петюня, догадывались, что Светлана увезла его в Перловку. Все, кто туда попадал, исчезали надолго и по возвращении бывали какое-то время не в себе.

Петюня пришел через полгода, к ночи, с блуждающим взглядом, и брюках, измазанных глиной до пояса. Римма с трудом вытягивала из него слова. Да, он был там. Помогал Пипке с хозяйством. Очень трудная жизнь. Все очень сложно. Из Перловки шел пешком. Почему в глине? А, это... Вчера всю ночь вместе с Пипкой блуждали по Перловке с керосиновыми фонарями, искали нужный дом. Там черкес родил щеночка. Да, вот так. Да, я знаю, — Петюня прижимал руки к груди, — знаю, что в Перловке черкесов нет. Это последний. Светлана сказала, что точно знает. И очень хороший случай для газеты в рубрику «Только факты». «Ты что, тоже свихнутый?» — спросила Римма, моргая. «Ну почему же. Я сам видел щенка». — «А черкеса?» — «К нему не пустили. Ночь все-таки». — «Проспись», — сказала Римма. Петюню положили в коридоре, среди хлама. Римма промучилась, ворочаясь, всю ночь и к утру решила, что Черкес — кличка собаки. Но за завтраком она не решилась умножать бред расспросами, да и Петюня был мрачен и быстро ушел.

Потом Светлане понадобилось перевозить вещи из Перловки куда-то в другое место — географию выяснять было бесполезно; конечно же, на такси, и почему-то совершенно необходима была помощь Феде. Поколебавшись, Римма отпустила. Было десять утра, и вряд ли что-

нибудь могло.... Он вернулся в три часа ночи, очень странный. «Где ты был?» — Римма в ночной рубашке ждала в коридоре. «Видишь ли, масса обстоятельств... Пришлось ехать в Серпухов, там у нее близнецы в Доме малютки». — «Какие близнецы?» — закричала Римма. «Крошечные совсем, годик вроде. Сиамские. Они головами срослись. Карина и Анджела». — «Какими головами?! Ты в своем уме?! Она к нам сто лет ходит, ты видел, чтобы она рожала?!» Нет, он, конечно, не видел, чтобы она рожала или что-нибудь такое, но ведь они же ездили в Серпухов, отвозили передачу: мороженный хек. Да, хек близнецам. Он сам пробил в кассе за рыбу. Римма зарыдала и хлопнула дверью, Федя остался в коридоре, скрестись в комнату и клясться, что он сам ничего не понимает, но что Карина и Анджела — это он помнит точно.

Пипка после этого опять надолго исчезла, и эпизод забылся. Но что-то надорвалось впервые в Римме — она оглянулась и увидела, что время все плывет, а будущее все не наступает, а Федя не так уж и хорош собой, а дети научились на улице нехорошим словам, а старик Ашке-нази кашляет да живет, а морщинки уже поползли к глазам и ко рту, а хлам в коридоре все лежит да лежит. И шум океана стал глуше, и на юг они так и не съездили, все откладывали на будущее, которое не хочет наступать.

Смутные пошли дни. У Риммы опускались руки, она все пыталась понять, в какой момент ошиблась тропинкой, ведущей к далекому поющему счастью, и часто сидела, задумавшись, а дети росли, а Федя сидел у телевизора и не хотел писать диссертацию, а за окном то валила ватная метель, то проглядывало сквозь летние облака пресное городское солнце. Друзья постарели, стали тяжелы на подъем, Петюня и вовсе исчез куда-то, яркие галстуки вышли из моды, Эля с Алешей завели новую капризную собаку, которую вечерами не на кого было оставить. На работе у Риммы появились новые сослужи-

вицы, Люся-большая и Люся-маленькая, но они не знали о Римминых планах на счастье и не завидовали ей, а завидовали Кире из планового отдела, которая дорого и разнообразно одевалась, меняла шапки на книги, книги на мясо, мясо на лекарства или на билеты в труднодоступные театры и раздраженно говорила кому-то по телефону: «Но ведь ты прекрасно знаешь, как я люблю заливной язык».

И однажды вечером, когда Федя сидел у телевизора, а Римма сидела, положив голову на стол, и слушала, как кашляет старик за стеной, ворвалась Пипка, вся огонь и пламя, с розовыми щеками, помолодевшая, как это случается с сумасшедшими, и улыбнулась пылающим ртом, полным сверкающих белых зубов. «Тридцать шесть!» — крикнула она с порога и стукнула кулачком по притолоке. «Что тридцать шесть?» — подняла голову со стола Римма. «Тридцать шесть зубов!» — сказала Пипка. И рассказала, что нанялась юнгой на пароход, идущий в Японию, и поскольку пароход был уже сверхкомплектован, ей пришлось спать в котле с мясом и рисом, что капитан отдавал ей честь, а помощник капитана — отбирал, что по пути в нее влюбился богатый японец и хотел оформить брак по телеграфу, не откладывая, но не нашлось где-то там нужных иероглифов, и дело развалилось, а потом — пока в одном из портов мыли котлы изпод мяса и риса — ее украли пиратская джонка и продала богатому плантатору, и она год работала на плантациях малайской конопли, откуда ее выкупил богатый англичанин за советский юбилейный рубль, который, как известно, дорого ценится среди малайских нумизматов; англичанин увез ее в туманный Альбион, сначала потерял ее в густом тумане, но потом нашел и на радостях вставил ей за свой счет самый дорогой и модный набор из тридцати шести зубов, что могут позволить себе исключительно толстосумы. На дорогу он дал ей с собой копченого пони, и вот теперь она, Пипка, едет, наконец, в Перловку за своими вещами. «Открой рот», — сказала

Римма с ненавистью. И в разинутом с готовностью Светланином рту насчитала, борясь с головокружением, все тридцать шесть — как они там помещались, непонятно, но это были, точно, зубы. «Я теперь стальной прут перекусываю, хотите — карниз перекушу», — начало было чудовище, и Федя посмотрел с большим интересом, но Римма замахала руками: все, все, поздно, мы спать хотим, и совала деньги на такси, и подталкивала к двери, и пихнула ей томик Сименона: ради бога, на ночь почитай, только уходи! И Пипка ушла, напрасно цепляясь за стены, и больше ее никто не видел. «Федя, поедем на юг?» — спросила Римма. «Обязательно», — с готовностью, как много раз за эти годы, ответил Федя. Вот и хорошо. Значит, все-таки поедем. На юг! И она прислушалась к голосу, который все еще чуть слышно шептал что-то, о будущем, о счастье, о долгом, крепком сне в белой спальне, но слова уже трудно было различить. «Эй, смотри-ка: Петюня!» — удивленно сказал Федя. На экране телевизора, под пальмами, маленький и хмурый, с микрофоном в руках стоял Петюня и клял какие-то плантации какао, а проходившие негры оборачивались на него, и огромный его галстук нарывал африканской зарей, но счастья на его лице тоже что-то не было видно.

Теперь Римма знала, что их всех обманули, но кто и когда это сделал, не могла вспомнить. Она перебирала день за днем, искала ошибку, но не находила. Все как-то подернулось пылью. Иногда ей хотелось — странно — поговорить на этот счет с Пипкой, но та больше не появлялась.

Опять было лето, пришла жара, и сквозь густую пыль вновь зашептал что-то голос из будущего. Дети у Риммы выросли, один женился, а другой ушел в армию, квартира была пуста, и по ночам плохо спалось: старичок за стеной кашлял не переставая. Римме больше не хотелось устроить спальню в комнате старичка, и белого пеньюара у нее больше не было: съела моль, выйдя из хлама в коридоре, даже не посмотрев, что ест. Придя на работу,

Римма пожаловалась Люсе-большой и Люсе-маленькой, что моль уже ест даже немецкие вещи, и маленькая ахала, прижимая ладони к щекам, а большая злилась и мрачнела. «Если хотите прибарахлиться, девочки, — сказала опытная Кира, оторвавшись от телефонных махинаций, — могу отвезти. Тут у меня есть одна. У нее дочь из Сирии вернулась. Деньги можно потом. Вещи хорошие. Вера Есафовна в субботу на семьсот рублей взяла. Они там, в Сирии, хорошо жили. В бассейне плавали, хотя еще поехать». — «Давайте, что ли», — сказала Люся-большая. «Ой, у меня долгов столько», — шептала маленькая.

«Быстро, быстро, девочки, берем такси, — торопила Кира. — За обеденный перерыв обернемся». И они, чувствуя себя девочками, сбежавшими с уроков, набились в машину, обдавая друг друга запахами духов и зажигаемых сигарет, и закружили по горячим летним переулочкам, засыпанным солнечной липовой шелухой, пятнами теплой тени; дул южный ветер и доносил сквозь бензиновые дуновения торжество и сияние далекого юга: голубое полыхание небес, зеркальный блеск огромных морей, дикое счастье, дикую свободу, безумие сбывающихся надежд — на что? а бог их знает! И по квартире, куда они вошли, замирая и предвкушая счастливое промтоварное приключение, тоже ходил теплый ветер, колыша и вздувая белый тюль на окнах, на дверях, распахнутых на просторный балкон, — все тут было просторное, крупное, свободное. Римма позавидовала квартире. Могучая баба — хозяйка продажного добра — быстро распахнула заветную комнату. Добро было навалено, помятое, в коробки из-под телевизоров, на вздымающуюся двуспальную постель, отражалось в зеркале могучего гардероба. «Ройтесь», — распорядилась Кира, стоя на пороге. Женщины, трепеща, погрузили руки в короба с шелковым, бархатным, полупрозрачным, расшитым золотыми нитями; вытаскивали вещи, дергая, путаясь в лентах и воланах; руки выуживали, а глаза уже нашаривали другое,

поманившее бантом или оборкой, внутри у Риммы мелко дрожала какая-то жилочка, уши пылали, и во рту пересохло. Все было как во сне. И, как и полагается по жестокому сценарию сна, скоро наметился и начал разрастаться некий сбой в гармонии, тайный дефект, грозящий прогреметь катастрофой. Вещи — да что же это такое? — были не те, не те, что померещились вначале, глаз уже различал вздорность этих клюквенных марлевых юбок, годных разве для кордебалета, претенциозность лиловых индюшачьих жабо и немодные линии толстых бархатных жакетов; это отбросы; нас пригласили на объедки с чужого пира; здесь уже порылись, потоптались; чьи-то жадные руки уже осквернили волшебные короба, вырвали и унесли то самое, настоящее, ради чего билось сердце и дрожала та особая жилочка. Римма наваливалась на другие ящики, шарила по развороченной двуспальной постели, но и там, и там... А то, что она в отчаянии выхватывала из куч и прикладывала к себе, тревожно всматриваясь в зеркало, было смехотворно мало, коротко или глупо. Жизнь ушла, и голос будущего поет для других. Баба, владелица товара, сидела как Будда и смотрела зорко и с презрением. «А это?» — Римма тыкала в то, что висело на плечиках вдоль стен, развеиваясь на теплом ветру. «Продано. Это тоже продано». — «А на мой размер... Есть что-нибудь?..» — «Дай ты ей», — сказала бабе Кира, подпиравшая стенку. Баба, подумав, вытянула из-за спины что-то серое, и Римма, торопливо обнажаясь, открывая подругам все тайны своего дешевого белья, ужом пролезла в полагающиеся отверстия; прилаживая и обдергивая, всмотрелась в беспощадно яркое свое отражение. Теплый ветер все гулял по солнечной комнате, равнодушный к совершаемому торгу. Она не поняла толком, что надела, с тоской смотрела на свои белые, с черными волосками ноги, словно отсыревшие или пролежавшие всю зиму в темных сундуках, на испуганно вытянутую шею с гусиной кожей, на прилипшие волосы, на живот, на морщины, на темные круги под глазами. От платья пахло

чужими людьми — его уже мерили. «Очень хорошо. Твое. Бери», — давила Кира, тайная союзница бабы. Баба смотрела молча и брезгливо. «Сколько?» — «Двести». — Римма задыхнулась, пытаясь сорвать отравленную одежду. «Это же очень модно, Риммочка», — виновато сказала Люся-маленькая. И в довершение унижения ветер распахнул дверь в соседнюю комнату и показал райское видение: молодую, загорелую до орехового блеска, божественно точеную дочь бабы — ту, что приехала из Сирии, что выпорхнула из белых бассейнов с прозрачной голубой водой, — сверкнула белая одежда, голубые очи, баба встала и прикрыла дверь. Это зрелище не для смертных.

Южный ветер заносил в старый подъезд мусор цветущих лиц, нагревал потертые стены. Люся-маленькая спускалась по лестнице боком, обняв гору выбранных вещей, чуть не плача, — опять залезла в страшные долги. Люся-большая злобно молчала. Римма тоже шла стиснув зубы: летний день почернел, судьба раздражила и посмеялась. И она уже знала, что купленная ею в последний момент, в отчаянном порыве блузка — дрянь, прошлогодние листья, золото сатаны, которому суждено наутро обернуться гнилушками, шелуха, обсосанная и сплюнутая голубококой сирийской гурней.

Она ехала в притихшем, загрустившем такси и говорила себе: зато у меня есть Федя и дети. Но утешение было фальшивым и слабым, ведь все кончено, жизнь показала свой пустой лик — сваявшиеся волосы да провалившиеся глазницы. И вождеденный юг, куда она рвалась столько лет, представился ей желтым и пыльным, с торчащими пучками жестких сухих растений, с мутными, несвежими волнами, покачивающими плевки и бумажки. А дома — старая, запселяя коммуналка, и бессмертный старичок Ашкенази, и знакомый до воя Федя, и весь вязкий поток будущих, еще непрожитых, но известных наперед лет, сквозь которые брести и брести, как сквозь пыль, засыпавшую путь по колени, по грудь, по шею. И пение

сирен, обманно шепчущих глупому пловцу сладкие слова о несбыточном, умолкло навеки.

Нет, еще были разные события — у Киры отсохла рука, Петюня приезжал в гости и долго рассказывал о ценах на нефть, Эля с Алешей похоронили собаку и завели новую, старичок Ашкенази помыл, наконец, окна с помощью фирмы «Заря», но Пипка больше не появлялась. Одни точно знали, что она вышла замуж за слепого сказителя и укатила в Австралию — сверкать там новыми белыми зубами среди эвкалиптов и утконосов над коралловыми рифами, а другие клялись и уверяли, что она разбилась и сгорела в такси на Ярославском шоссе, в дождливую скользкую ночь, и что пламя было видно издалека, и стояло столбом до неба. Еще говорили, что сбить огонь не удалось, и когда все прогорело, то на месте катастрофы ничего не нашли. Так, одни угольки.

СВИДАНИЕ С ПТИЦЕЙ

— Мальчики, домо-ой! Ужинать!

Мальчки, по локоть в песке, подняли головы, очнулись: мама стоит на деревянном крылечке, машет рукой: сюда, сюда, давайте! Из двери пахнет теплом, светом, домашним вечером.

Действительно, уже темно. Сырой песок холодит колени. Песочные башни, рвы, ходы в подземелья — все слилось в глухое, неразличимое, без очертаний. Где дорожка, где влажные крапивные заросли, дождевая бочка — не разобрать. Но на западе еще смутно белеет. И низко над садом, колыхнув вершины темных древесных холмов, проносится судорожный, печальный вздох: это умер день.

Петя быстро нашел на ощупь тяжелые металлические машинки — краны, грузовички; мама притопывала ногой от нетерпения, держась за ручку двери, а маленький Ленечка еще покапризничал, но и его подхватили, затащили, умыли, вытерли крепким вафельным полотенцем вырывающееся лицо.

Мир и покой в кругу света на белой скатерти. На блюдечках — веер сыра, веер докторской колбасы, колесици лимона — будто разломали маленький желтый велосипед; рубиновые огни бродят в варенье.

Перед Петей поставили огромную тарелку с рисовой кашей; тающий остров масла плавает в липком Саргассовом море. Уходи под воду, масляная Атлантида. Никто не спасется. Белые дворцы с изумрудными чешуйчатыми крышами, ступенчатые храмы с высокими дверными проемами, прикрытыми струящимися занавесами из павлиньих перьев, золотые огромные статуи, мраморные лестницы, уходящие ступенями глубоко в море, острые серебряные обелиски с надписями на неизвестном языке, — все, все уйдет под воду. Прозрачные зеленые океанские волны уже лижут уступы храмов; мечутся смуглые обезумевшие люди, плачут дети... Грабители тащат



драгоценные, из душистого дерева, сундуки, ропают; развеиваются ворох летучих одежд... ничего не пригодится, ничего не понадобится, никто не спасется, все скользнет, накренившись, в теплые прозрачные волны... Раскачивается золотая, восьмизатаянная статуя верховного бога с третьим глазом во лбу, с тоской смотрит на восток...

— Прекрати баловство с едой!

Петя вздрогнул, размешал масло. Дядя Боря, мамин брат, — мы его не любим — смотрит недовольно; борода черная, в белых зубах папираса; курит, придвинувшись к двери, приоткрыв щель в коридор. Вечно он при- стает, дергает, насмехается — что ему надо?

— Давайте, пацаны, быстро в постель. Леонид сейчас заснет.

В самом деле, Ленечка опустил носик в кашу, медленно возит ложкой в клейкой гуще. Ну а Петя-то совершенно не собирается спать. Если дяде Боре хочется свободно курить, пусть идет на крыльцо. И пусть не лезет в душу.

Съев погибшую Атлантиду, дочиста выскребя ложкой океан, Петя сунул губы в чашку с чаем — поплыли масляные пятна. Мама унесла заснувшего Ленечку, дядя Боря сел поудобнее, курит открыто. Дым от него идет противный, тяжелый. Тамила — та всегда курит что-то душистое. Дядя Боря прочел Петины мысли, полез вычитывать:

— Опять ходил к своей сомнительной приятельнице?

Да, опять. Тамила — не сомнительная, она заколдованная красавица с волшебным именем, она жила на стеклянной голубой горе с неприступными стенами, на такой высоте, откуда виден весь мир, до четырех столбов с надписями: «Юг». «Восток». «Север». «Запад». Но ее украли красный дракон, полетал с ней по белу свету и завез сюда, в дачный поселок. И теперь она живет в самом дальнем доме, в огромной комнате с верандой, заставленной кадками с вьющимися китайскими розами, заваленной старыми книжками, коробками, шкатулками и

подсвечниками, курит тонкие сигаретки из длинного мундштука, звенящего медными колечками, пьет что-то из маленьких рюмочек, качается в кресле и смеется, будто плачет. А на память о драконе носит Тамила черный блестящий халат с широченными рукавами, и на спине — красный злобный дракон. А черные спутанные волосы висят у нее прямо до ручки кресла. Когда Петя вырастет, он женится на Тамиле, а дядю Борю заточит в башню. Но потом, может быть, пожалеет и выпустит.

Дядя Боря опять прочел Петины мысли, захохотал и зашел — ни для кого, но обидно:

*А-а-ана была портнихой,
И шила гладью.
Па-а-атом пошла на сцену.
И стала — актрисой!
Тарьям-пам-пам!
Тарьям-пам-пам!*

Нет, нельзя его выпускать из башни.

Мама вернулась к столу.

— Деда кормили? — Дядя Боря цыкал зубом как ни в чем не бывало.

Петин дедушка лежал больной в задней комнате, часто дышал, смотрел в низкое окно, тосковал.

— Не хочет он, — сказала мама.

— Не жилец, — цыкнул дядя Боря. И опять засвистел тот же гнусный мотивчик: тарьям-пам-пам!

Петя сказал «спасибо», ощупал в кармане спичечный коробок с сокровищем и пошел в кровать — жалеть дедушку и думать о своей жизни. Никто не смеет плохо говорить про Тамилу. Никто ничего не понимает.

...Петя играл в мяч у дальней дачи, спускающейся к озеру. Жасмин и сирень разрослись так густо, что и калитку не найдешь. Мяч перелетел через кусты и пропал в чужом саду. Петя перелез через забор, пробрался — открылась цветочная лужайка с солнечными часами посре-

дине, просторная веранда — и там он увидел Тамилу. Она раскачивалась на черном кресле-качалке, в ярко-черном халате, нога на ногу, наливала себе из черной бутылки, и веки у нее были черные и тяжелые, а рот красный.

— Привет! — крикнула Тамила и засмеялась, будто заплакала. — А я тебя жду!

Мячик лежал у ее ног, у расшитых цветами тапочек. Она качалась взад-вперед, взад-вперед, и синий дымок поднимался из ее позванивающего мундштука, а на халате был пепел.

— Я тебя жду, — подтвердила Тамила. — Ты меня можешь расколдовать? Нет?.. Что ж ты... А я-то думала... Ну, забирай свой мячик.

Пете хотелось стоять, и смотреть на нее, и слушать, что она еще скажет.

— А что вы пьете? — спросил он.

— Панацею, — сказала Тамила и выпила еще. — Лекарство от всех зол и страданий, земных и небесных, от вечернего сомнения, от ночного врага. А ты лимоны любишь?

Петя подумал и сказал: люблю.

— Ты, когда лимоны будешь есть, косточки для меня собирай, ладно? Если сто тысяч лимонных косточек собрать и бусы нанизать, можно полететь, даже выше деревьев, знаешь? Хочешь, вместе полетим, я одно место покажу, там клад зарыт, только вот слово забыла, каким клад открывается. Может быть, вместе подумаем.

Петя не знал, верить или не верить, но хотелось смотреть и смотреть на нее, как она говорит, как качается в диковинном кресле, как звенят медные колечки. Она его не поддразнивала, не заглядывала в глаза, проверяя: ну как? интересно я рассказываю, а? нравится? Просто качалась и звенела, черная и длинная, и советовалась с Петей, и он понял: это будет его подруга на веки веков.

Он подошел поближе, посмотреть на удивительные кольца, блестящие на ее руке. Трижды обвила палец

змея с синим глазом, а рядом распласталась мятая серебряная жаба. Змею Тамила сняла и дала посмотреть, а жабу снять не позволила:

— Что ты, что ты, эту снимешь — конец мне. Рассыплюсь черным порошком, разнесет ветром. Она меня бержет. Мне ведь семь тысяч лет, а ты как думал?

Это правда, ей семь тысяч лет, но пусть живет еще, пусть не снимает кольца! Сколько же она всего видела! Она и гибель Атлантиды видела — пролетала над гибнущим миром в бусах из лимонных косточек. Ее и на костре хотели сжечь, за колдовство, уже потащили, а она вырвалась — и под облака: бусы-то на что? А вот дракон украл ее, унес со стеклянной горы, из стеклянного дворца, а бусы там так и остались — висят на зеркале.

— А ты хочешь на мне жениться?

Петя покраснел и сказал: хочу.

— Договорились. Только не подведи! А наш союз мы скрепим честным словом и шоколадными конфетами.

И дала целую вазу конфет. Она только их и ела. И пила из черной бутылки.

— Хочешь книжки посмотреть? Вон там свалены.

Петя пошел к пыльной куче, раскрыл наугад. Открылась цветная картинка: вроде бы лист из книги, но буквы не прочесть, а наверху, в углу, большая цветная буква, вся заплетенная плоской лентой, травами и колокольчиками, и над ней птица — не птица, женщина — не женщина.

— Это что? — спросил Петя.

— Кто их знает. Это не мои, — раскачивалась звенящая Тамила, пуская дым.

— А почему птица такая?

— Покажи. Ах, птица-то. Это птица Сирина, птица смерти. Ты ее бойся: задушит. Слышал вечером, как в лесу кто-то жалуется, кукует? Это она и есть. Это птица ночная. А есть птица Финист. Она часто ко мне летала, а потом я с ней поссорилась. А то есть еще птица Алконост. Та утром встает, на заре, вся розовая, прозрачная,

насквозь светится, с искорками. Она гнездо вьет на водяных лилиях. Несет одно яйцо, очень редкое. Ты знаешь, зачем люди лилии рвут? Они яйцо ищут. Кто найдет, на всю жизнь затоскует. А все равно ищут, все равно хочется. Да у меня оно есть — подарить?

Тамила качнулась на черном гнутом кресле, пошла куда-то в глубь дома. Бисерная подушечка свалилась с сиденья. Петя подобрал — она была прохладная. Тамила вернулась — на ладони каталось, позвякивая об изнанку колец, маленькое, стеклянное какое-то, розовое волшебное яичко, туго набитое золотыми искрами.

— Не бойшься? Держи! Ну, приходи в гости. — Она засмеялась и упала в гнутое кресло, закачала сладкий, душистый воздух.

Петя не знал, как это — затосковать на всю жизнь, и яичко взял.

Точно, он на ней женится. Раньше он собирался жениться на маме, но раз уж он обещал Тамиле... Маму он тоже с собой обязательно возьмет; можно, в конце концов, и Ленечку... а дядю Борю — ни за что. Маму он очень, очень любит, но таких странных, чудесных историй, как у Тамилы, от нее никогда не услышишь. Поешь да умойся — вот и весь разговор. И что купили — луку или там рыбу.

А про птицу Алконост она слыхом не слыхала. И лучше не говорить. А яичко положить в спичечный коробок и никому не показывать.

Петя лежал в кровати и думал, как он будет жить с Тамиллой в большой комнате с китайскими розами. Он будет сидеть на ступеньках веранды и стругать палочки для парусника, и назовет его Летучий Голландец. Тамила будет качаться в кресле, пить паначею и рассказывать. А потом они сядут на Летучий Голландец, флаг с драконом — на верхушке мачты, Тамила в черном халате на палубе, — солнце, брызги в лицо, — поедут на поиски пропавшей, соскользнувшей в зеленые зыбкие океанские толщи Атлантиды.

Он раньше жил себе — просто: стругал палочки, копался в песке, читал книжки с приключениями; лежа в кровати, слушал, как ноют, беспокоятся за окном ночные деревья, и думал, что чудеса — на далеких островах, в попугайных джунглях, или в маленькой, суживающейся книзу Южной Америке, с пластмассовыми индейцами и резиновыми крокодилами. А мир, оказывается, весь пропитан таинственным, грустным, волшебным, шумящим в ветвах, колеблющимся в темной воде. По вечерам они с мамой гуляют над озером: солнце садится за зубчатый лес, пахнет черникой, еловой смолой, высоко над землей золотятся красные шишки. Вода в озере кажется холодной, а попробуешь рукой — так даже горячая. По высокому берегу ходит большая седая дама в сливочном платье; ходит медленно, опираясь на трость, улыбается ласково, а глаза у нее темные и взгляд пустой. Много лет назад ее маленькая дочка утонула в озере, а мать ждет ее домой: пора ложиться спать, а дочки все нет и нет. Седая дама останавливается и спрашивает: «Который час?» — и, услышав ответ, качает головой: «Подумайте-ка!» А когда пойдешь назад, она опять остановится и спросит: «Который час?»

Пете жалко даму, с тех пор как он знает ее секрет. Но Тамила говорит, что маленькие девочки не тонут, просто не могут утонуть. У детей есть жабры; попадут под воду — и превращаются в рыбок, правда не сразу. Плавают девочка серебряной рыбкой, высунет головку, хочет позвать мать, а голоса-то нет...

А тут, неподалеку, есть заколоченная дача. Никто в нее не приезжает, крылечко подгнило, ставни наглухо забиты, заросли дорожки. В этой даче было совершено злодеяние, и после уж никто там жить не может. Хозяйева пробовали уговорить жильцов и даже большие деньги предлагали — только живите; нет, никто не едет. Одни все-таки решились, но и трех дней не прожили: огни сами гаснут, и вода в чайнике кипеть не хочет, не сохнет мокрое белье, сами по себе тупеют ножи, и дети всю ночь

не могут закрыть глаза, а сидят белыми столбиками в постельках.

А вон в ту сторону — видишь?.. — ходить нельзя, там темный еловый лес, сумрак, гладко подметенные дорожки, белые поляны с цветами дурмана. Там-то, среди ветвей, и живет птица Сириин, птица смерти, большая, как тетерев. Петин больной дедушка боится птицы Сириин — сядет к нему на грудь и задушит. У нее на каждой ноге по шесть пальцев, кожистые, холодные, мускулистые, а лицо как у спящей девочки. Куу-гу! Куу-гу! — кричит вечерами птица Сириин, копошится в еловой чаще. Не пускайте ее к дедушке, закройте плотнее окна, двери, зажгите лампу, давайте читать вслух! Но дедушка боится, смотрит в тревоге в окно, дышит тяжело, перебирает одеяло руками. Куу-гу! Куу-гу! Что тебе от нас надо, птица? Не трогай нашего дедушку! Дедушка, не смотри так в окно, что ты там видишь? Это лапы елей машут в темноте, это просто ветер волнуется, не может уснуть. Дедушка, вот же мы все тут! Лампа горит, и скатерть белая, и я вырезал кораблик, а Ленечка нарисовал петушка! Дедушка?!

— Идите, идите, дети, — мама гонит из дедушкиной комнаты, нахмурилась, слезы на глазах. Черные кислородные подушки лежат в углу на стуле — отгонять птицу Сириин. Всю ночь она летает над домом, царапается в окна, а под утро, найдя щелочку, забирается, тяжелая, на подоконник, на кровать, ходит пешком по одеялу — ищет дедушку. Мама хватает черную страшную подушку, кричит, машет, гонит птицу Сириин... прогнала.

Петя рассказывает Тамиле про птицу: может быть, она знает какое-нибудь снадобье, петушиное слово против птицы Сириин? Но Тамила печально качает головой: нет; было, но все осталось там, на стеклянной горе. Дала бы она дедушке охранное кольцо с жабой — да ведь сама тут же рассыплется черным порошком... И пьет из черной бутылки.

Странная она! Хочется думать про нее, про то, что

она говорит, слушать, какие ей сны снятся; хочется сидеть на ступеньках ее веранды — ступеньках дома, где все можно: есть хлеб с вареньем немытыми руками, сутулиться, грызть ногти, ходить ботинками — если вздумается — прямо по клумбам, и никто не закричит, не укажет, не призовет к порядку, чистоте и здравому смыслу. Можно взять ножницы и вырезать из любой книжки понравившуюся картинку — Тамиле все равно, она и сама может вырвать картинку и вырезать, только у нее выходит криво. Можно говорить все, что в голову придет, и не бояться насмешек: Тамила грустно качает головой, понимая; а если и засмеется — как будто заплачет. Попросишь — она и в карты сыграет: в дурачка, в пьяницу, но играет она плохо, путает карты и проигрывает.

И все разумное, скучное, привычное — все остается по ту сторону заросшей цветущим кустарником ограды.

Ах, не хочется уходить! Дома надо молчать и про Тамилу (вырасту, поженимся, тогда и узнаете), и про Сирина, и про искристое яйцо птицы Алконост, владелец которого затоскует на всю жизнь...

Петя вспомнил про яйцо, достал из спичечного коробка, сунул под подушку и поплыл на Летучем Голландце по черным ночным водам.

Утром дядя Боря с опухшим лицом курил натошак на крыльце. Черная борода вызывающе торчала, глаза брезгливо прищурились. Увидев племянника, он опять зашвистел вчерашнее, противное... И засмеялся. Зубы — редко видимые из-за бороды — были как у волка. Черные брови поползли вверх.

— Салют юному романтику! — бодро крикнул дядя. — Давай-ка, Петр, седлай велосипед — и в лавку! Матери нужен хлеб, а мне возьмешь две пачки «Казбека». Тебе отпу-устят, отпу-устят! Нинку я знаю, она детям до шестнадцати чего хочешь отпустит!..

Дядя Боря открыл рот и захохотал. Петя взял рубль и вывел из сарая запотевшего «Орленка». На рубле маленькими буквами — непонятные, оставшиеся от ат-

лантов слова: бир сум. Бир сом. Бир манат. А пониже — угроза: «подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону», — слова скучные, взрослые. Трезвое утро вымело волшебных вечерних птиц, ушла на дно рыбка-девочка, спят под толщей желтого песка золотые трехглазые статуи Атлантиды. Дядя Боря разогнал громким, оскорбительным смехом хрупкие тайны, вышвырнул сказочный сор, но только не навсегда, дядя Боря, только на время! Солнце начнет склоняться к западу, воздух пожелтеет, лягут косые лучи, и очнется, завозится таинственный мир, плеснет хвостом серебристая немая утопленница, закопошится в еловом лесу серая, тяжелая птица Сирин, и, может быть, где-то в безлюдной заводи уже спрятала в водяную лилию розовое огнистое яичко утренняя птица Алконост, чтобы кто-то затосковал о несбыточном... Бир сум, бир сом, бир манат!

Толстоногая Нинка безропотно дала «Казбек», велела передать дяде Боре привет — противный привет противному человеку — и Петя покатил назад, звеня звоночком, подскакивая на узловатых корнях, похожих на огромные дедушкины руки. Осторожно объехал дохлую ворону — птицу кто-то раздавил колесом, глаз закрыт белой пленкой, черные свалявшиеся крылья покрыты пеплом, клюв застыл в горестной птичьей улыбке.

За завтраком мама сидела с озабоченным лицом — дедушка опять ничего не ел. Дядя Боря насвистывал, разбивая ложечкой яйцо и поглядывая на детей, — искал, к чему бы прицепиться. Ленечка пролил молоко, и дядя Боря обрадовался — вот и повод поговорить. Но Ленечка совершенно равнодушен к дядиному занудству: он еще маленький, и душа у него запечатана, как куриное яйцо: все с нее скатывается. Если он, не дай бог, свалится в воду, то не утонет, а станет рыбкой — лобастым, полосатеньким окунем. Ленечка допил, и, не дослушав, побежал к песочнице: песок подсох на утреннем солнце и башни, должно быть, осыпались. Петя вспомнил.

— Мама, а та девочка давно утонула?

— Какая девочка? — восторженно воскликнула мама.

— Ну, ты знаешь. Дочка той старушки, которая все спрашивает: который час?

— Да у нее не было никакой дочки. Глупости какие. У нее два взрослых сына. Кто тебе сказал?

Петя промолчал. Мама посмотрела на дядю Борю, тот обрадовался и захохотал.

— Пьяные бредни нашей лохматой приятельницы! А?! Девочка, а?!

— Какой приятельницы?

— А, так... Ни рыба ни мясо.

Петя вышел на крыльцо. Дядя Боря хотел все испачкать. Хотел зажарить и схрупать волчьими зубами серебряную девочку-рыбку. Ничего у тебя не выйдет, дядя Боря! У меня под подушкой сияет огнями яйцо утренней прозрачной птицы Алконост.

Дядя Боря распахнул окно и крикнул в росистый сад:

— Пить надо меньше!

Петя постоял у ограды, поковырял ногтем ветхое серое дерево перекладки. День только начинался.

Вечером дедушка опять ничего не ел. Петя посидел на краю смятой постели, погладил сморщенную дедушкину руку. Дедушка, повернув голову, смотрел в окно. Там поднялся ветер, закачались верхушки деревьев, мама сняла сушившееся белье — оно захлопало, как белые паруса Летучего Голландца. Зазвенело стекло. Темный сад вздымался и опадал, как океан. Ветер согнал с ветвей птицу Сирия, и она, взмахивая отсыревшими крыльями, прилетела к дому и принюхивалась, поводя треугольным личиком с закрытыми глазами: нет ли щели? Мама отослала Петю и легла спать в дедушкиной комнате.

Ночью была гроза. Бушевали деревья. Ленечка просыпался и плакал. Утро пришло серое, грустное, ветреное. Дождем прибило Сирия к земле, и дедушка сел в постели, и его поили бульоном. Петя поболтался на пороге, порадовался дедушке, посмотрел в окно — как поникли под дождем цветы, как сразу запахло осенью. Зато

пили печку; прикрывшись капюшонами, носили из сарая дрова. На улице делать нечего. Ленечка сел рисовать карандашами, дядя Боря ходил, заложив руки за спину, и насвистывал.

День прошел скучно: ждали обеда, потом ждали ужина. Дедушка съел крутое яйцо. Ночью опять пошел дождь.

Ночью Петя бродил по подземным переходам, по лестницам, по коридорам метро, не мог найти выхода, пересаживался с поезда на поезд: поезда неслись по отвесным лестницам, двери — нараспашку; проезжали по чужим комнатам, заставленным мебелью; Пете непременно нужно было выйти, выбраться наружу, там, наверху, Ленечке и дедушке грозила опасность: забыли закрыть дверь, она так и стояла, разинутая, а птица Сирий пешком поднималась по скрипучим ступенькам, закрыв глаза; Пете мешал школьный портфель, но он тоже был очень нужен. Как выйти? Где здесь выход? Как выбраться наверх? «Нужен билет». Конечно, чтобы выйти, нужен билет! Вон касса. Дайте билет! Казначейский? Да, да, пожалуйста, казначейский! «Подделка казначейских билетов преследуется по закону». Вон они, билеты: длинные, черные листы бумаги. Погодите, в них же дырки! Это преследуется по закону! Дайте другие! Я не хочу! Портфель раскрывается, из него вываливаются длинные черные билеты, все в дырках. Собрать, скорее, скорее, меня преследуют, сейчас поймают! Они расползаются по полу, Петя собирает, запикивает как попало; толпа раздается, кого-то ведут... Не уйти с дороги, сколько билетов, о, вот оно, страшное: под руки ведут огромное, ревущее как сирена, задравшее вверх багровую, распухшую морду, это ни-рыба-ни-мясо, это конец!!!

Петя вскочил с бьющимся сердцем; еще не рассвело. Ленечка мирно спит. Добрался босиком до дедушкиной комнаты, толкнул дверь — тишина. Горит ночник. В углу чернеют кислородные подушки. Дедушка лежит с открытыми глазами, руки стиснули одеяло. Подошел, холодея и

догадываясь, тронул дедушкину руку, отпрянул. Мама!

Нет. Мама закричит, испугается. Может быть, еще можно исправить. Может быть, Тамила?

Петя бросился к выходу — дверь была распахнута. Сунул голые ноги в резиновые сапоги, на голову — капюшон, захохотал по ступенькам. Дождь кончился, но с деревьев капало. Небо серело. Добежал разъезжающимися по глине, подгибающимися ногами. Толкнул дверь веранды. Тяжело пахнуло холодным, застоявшимся пеплом. Петя задел на ходу какой-то столик: зазвенело и покатилося. Нагнулся, ощупью нашарил и помертвел: кольцо с серебряной жабой, охранное Тамилино кольцо, валялось на полу. В комнате завозились, Петя распахнул дверь. На кровати в полутьме силуэты двоих: Тамилины черные спутанные волосы разбросаны по подушке, черный халат на табуретке; повернулась и замычала. Дядя Боря вскочил в постели, борода вверх, волосы всклокочены. Набрасывая одеяло на Тамилину ногу, прикрывая свои, быстро завозился, закричал, вглядываясь в темноту:

— А?! Кто, что?! Это кто?! А?!

Петя заплакал, крикнул, дрожа в страшной тоске:

— Дедушка умер! Дедушка умер! Де-ду-шка умер!!!

Дядя Боря отбросил одеяло, выплюнул ужасные, извивающиеся, нечеловеческие слова; Петя затрясся в рыдании, ослеп, выбежал, — ботами по мокрым клумбам; душа сварилась как яичный белок, клочьями повисала на несущихся навстречу деревьях; кислое горе бурлило во рту; добежал до озера, бросился под мокрое, сочащееся дождем дерево; визжа, колотя ногами, тряся головой, выгонял из себя страшные дяди Борины слова, страшные дяди Борины ноги.

Привык, затих, полежал. Сверху капали капли. Мертвое озеро, мертвый лес; птицы свалились с деревьев и лежат кверху лапами; мертвый, пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской. Все — ложь.

Он почувствовал в кулаке твердое и разжал руку. Распластанная серебряная охранная жаба выпучила глаза.

Спичечный коробок, мерцающий вечной тоской, лежал в кармане.

Птица Сирин задушила дедушку.

Никто не уберется от судьбы. Все — правда, мальчик. Все так и есть.

Он еще полежал, вытер лицо и побрел к дому.

СПИ СПОКОЙНО, СЫНОК

У Сергеевой тещи в сорок восьмом году сперли каракулевую шубу.

Шуба была, понятно, чудесная — кудрявая, теплая, подкладка трофейная: тканые ландыши по лиловому; век бы из такой шубы не вылезать: ноги в ботики, в руки муфту — и пошла, и пошла! И как сперли — по-хамски, нагло, грубо, просто из-под носа выдернули! Теща — прелестное дитя, бровки выщипаны, каблучки стучат, — поехала на барахолку, взяв с собой Паню, домработницу, — ты, Леночка, ее уже не помнишь. Нет, что-то такое Леночка помнила, — да бог с тобой, ты же пятидесятого года? Ты Клаву путаешь, Клаву, еще гребенка розовая, круглая такая — забыла? Как она все: «Грехи мои тяжки, грехи мои тяжки», боялась, что пригорит. А готовила — дай бог всякому, и меня обучила. Потом еще обувь ей в деревню отдавали, для внуков. Сейчас никто старую обувь не берет, не знаешь, куда девать.

Так вот, с Паней на барахолку. Эта Паня!.. Теща хотела купить еще одну шубку, беличью, на каждый день. Дамочка одна продавала — приличная, заплаканная, носик синенький, вот как сейчас перед глазами... Теща — каракуль Пане на руки, влезла в беличью, повернулась, а дамочки и след простыл, и каракуля нет! Паня, шуба?! Визг, слезы: да хозяйка, да я сама не знаю как, да вот же сейчас в руках держала! Глаза отвели, окаянные! Ну, глаза или не глаза, а не было ли тут стовора? Время послевоенное, глухое, шайки всякие, и кто ее, эту Паню, знает?.. И конечно, зависть, глухое неодобрение к таким, как теща, Марья Максимовна, — хорошеньким, вертлявым, тепло и богато укутанным. А за что? Можно подумать, что они жили как райские птицы, теща с Павлом Антонычем, — да ничего подобного. Вечное напряжение, тревога, разлуки, ночная работа. Военный медик был Павел Антоныч, борец с чумой, человек по-жилому, сложный, скорый на решения, в гневе страшный,

в работе честный. Тут предлагалось посмотреть на фотографию Пал Антоныча, каким он был в последние годы жизни, уже обиженный, отставленный, уязвленный классической ситуацией: отшатнувшиеся ученики, хапнув самое ценное из трудов учителя, переступают через него и несут слегка замаранное знамя дальше, ни единой строчечкой, ни сносочкой не почтив имя основоположника.

Сергей возводил очи горè и различал высоко на стене, в шелковой теплой тени, очки, усы и ордена. Леночка, папу-то помнишь? Конечно. Марья Максимовна шла на кухню за булочками, Сергей тянулся погладить Леночкину руку, та, суя ее как предмет посторонний, объясняла, что вообще-то отца почти не помнит, это уж она так, для мамы... Помнит осевший, ноздреватый мартовский снег, лаковый блеск ЗИЛа, и как пахло внутри, и оловянные зубы шофера, кепку его... Облако отцовского одеколона, скрип сиденья, сердитый затылок и замелькавшие за окном голые деревья — куда-то поехали... И еще один день — майский, золотой, с резким сладким ветром в форточку, в квартире какой-то разброд, то ли ковры в чистку, то ли зимние вещи в нафталин, все переставлено, бегают. И гневный, ужасный крик Пал Антоныча в коридоре, буханье ногой в пол, он пивырнет что-то тяжелое, врывается и, мощный и красный, прет через комнату, топча ногой медвежонка, топча кукольный обед, и майское солнце негодует, трясется и брызжет из стекол его очков. Причина будто бы была пустяковая — собака, что ли, напачкала у входа. На самом-то деле собака — ерунда, предлог, просто жизнь начала поворачиваться к Пал Антонычу не лучшей стороной. И ездить стало уж не на чем.

Теща возвращалась с булочками, со свежим чаем, Леночка клала свою руку на место, как использованную. Прохладновата была Леночка для молодой супруги, улыбалась слишком вежливо, горела вполнакала, и что там скрывалось, какие мысли мелькали за этими аква-

рельными глазами? Бледные щеки, волосы — водорослями вдоль щек, слабые руки, легкие ноги — все заворачивало, и хотя Сергей вообще-то любил женщин крепких, ярких, чернобровых, как вятская игрушка, но перед водянистой прелестью Леночки устоять не смог. А она обвилась вокруг него, нежаркая, душой зыбкая и недоступная, со слабенькими женскими проблемками: кашель, ту-уфельки велики, сюда гво-оздик вбей, Сережа, — и он вбивал гвоздики, вертел мелкие, как блюдца, туфли, — со Снегурочки все сваливается, — растирал скипидаром узкую Леночкину спину.

Женился со страхом и восторгом, наугад, ничего не понимая, — что Леночка, почему Леночка, ну да там видно будет! Она — нежная девочка, он — защитник, опора, теща — милейшая дама, добродушная, в меру вздорная, преподает в школе домоводство. Учит девочек кроить фартучки, обметывать края какие-то. Теория шитья, основы пожарной безопасности. «Стежок есть переплетение нитки с тканью между двумя проколами иглы». «Пожар есть загорание предметов, не подлежащих загоранию». Уютное, женское дело. И дома — семейный уют, семейный очаг, скромный и солидный простор трехкомнатной квартиры — наследство после сурового Пал Антоныча. Коридор уставлен книгами, в кухне все что-то печется и варится, а за кухней — крошечная комната, закуток, — это раньше так строили, Сереженька, специально для прислуги; здесь и эта жуткая Папя жила, и Клава с розовой гребенкой, а хотите, мы здесь ваш кабинет устроим, мужчине нужен отдельный кабинет. Конечно, ему хотелось! Маленькая, но совершенно своя комната — да что же может быть лучше? Стол — к окну, сюда стул, за спиной — полка с книгами. Летом в распахнутые окна полетит тополиный пух, а птичье пение, а детские голоса... Ручку, Марья Максимовна! Позвольте поцеловать. Ну, вот как все хорошо.

Да она даже представить себе не может, как все замечательно, какое чудо, какой подарок судьбы для него

эта комната, эта семья, — для него, детдомовца, мальчика без имени, без отчества, без матери. Все, все придумали ему в детдоме: имя, фамилию, возраст. Детства не было, детство сгорело, разбомбленное на неведомой станции, чьи-то руки вытащили его из огня, бросили на землю, катали, шанкой били по голове, сбивая пламя... Не понимал, что шанкой-то и спасли, черной, вонючей, — шапка отбила память, она спилась в кошмарах, кричала, взрывалась, оглушала, он долго потом заикался, рыдал, закрывал руками голову, когда воспитательницы пытались его одевать. Сколько ему было — три года, четыре? И сейчас, в середине семидесятых годов, у него, взрослого человека, екает сердце, когда проходит мимо магазина, где на полках круглились меховые шары. Останавливался, смотрел, преодолевая себя, напрягал память: кто я? откуда? чей я сын? Ведь была же мама, кто-то меня родил, любил, вез куда-то?

Летом на вытопанных площадках играл с такими же обожженными, безымянными, вытасканными из-под колес. Брались за руки, становились в две цепи. «Али-Баба!» — «О чем, слуга?» — «Тяни рукава!» — «С какого конца? — «Слева направо, Сережу сюда!» — и он бежал в серых казенных шароварах из одной цепи в другую, из своей семьи в чужую, чтобы горлом разорвать худые сцепленные руки, и, если это удавалось, присоединялся к тем, чужим, гордясь своей силой и немножко чувствуя себя изменником.

Длинные зимы, голодные глаза, бритые головы, кто-нибудь из взрослых торопливо погладит по голове, пробегая; мышинный запах казенных простынь, тусклый свет. Старшие мальчики били, требовали, чтобы воровал, соблазняли, вертя перед носом куском сырого хлеба — поделимся с тобой, лезь вон в ту форточку, ты тощий, протиснешься. Но кто-то невидимый и неслышный как будто непреклонно качал головой, закрывая глаза: нельзя, не бери. Мать ли то подавала знак из темного, разбитого времени, с той стороны, из-за шапки, бесплотные ли силы

оберегали? Кончил школу — выдали характеристику: «морально устойчив, опрятен». Тихо ела его тоска по матери, которой не было нигде. Соображение, что все, в конце концов, произошло от обезьяны, как-то не утешало. Он выдумывал себе матерей, воображал себя сыном любимой учительницы — будто бы у нее потерялся маленький мальчик и она ищет его, спрашивает у всех — не встречался ли? Тощенький такой, шапки боится? А он — вот он, тут, на первой парте сидит, а она и не знает! Сейчас она всмотрится и крикнет: «Сереза, ты? Что ж ты молчишь?» Он был сыном поварихи — помогал резать хлеб на кухне, поглядывал на ее белый колпак и быстрые руки, замирал, ожидая озарения, узнавания; он вглядывался в женщин на улице — напрасно, все бежали мимо.

Теперь же, тайно от Леночки, он хотел быть сыном Марьи Максимовны. А не было ли у нее сына, загоревшегося на далекой, безымянной станции? Загорание предметов, не подлежащих загоранию?.. Закут за кухней, снег за окном, желтый абажур, старые обои с кленовыми листьями, старый дом — вспомнить бы... Как будто бы он тут жил, как будто бы что-то узнаёт?..

Чушь какая, не было у Марьи Максимовны пропавшего мальчика, только шуба у нее и пропала, хорошая, трофейная шуба на шелковой подкладке, затканной лиловыми ландышами. Пал Антоныч, большой человек, в многозвездных чинах, снял эту роскошь с крючка в немецком доме — ему сразу понравилось, церемониться не стал. Снял — и в посылку. За наши города и села!

Какая шуба была! Обидно, Серезенька! Вам это, наверное, знакомо — гадкое чувство, что тебя обокрали. И не успела даже повернуться, ахнуть не успела — подменили! Беличью дешевку подсунули, да еще и не новую, как потом выяснилось: распозлалась по швам. Да она небось тоже краденая была?! Это вы представляете ситуацию — жена Павла Антоныча обкрадена и сама в ворованной шубе... Что хуже всего: пришлось признаться,

что ездила на барахолку: это ведь в тайне от него делалось... Ох, на него было страшно смотреть: какой-то гейзер гнева! Обокрали... Он таких вещей не терпел. Он, военный медик, заслуженный человек, всю жизнь отдал науке, — и людям, конечно, — и вдруг такое. С ним же тогда страшно считались, это уж после на него наговорили, оскорбили, вышвырнули на пенсию, в отставку, его, заслуженного инфекциониста! Забыли все его заслуги, смелость, бесстрашие, принципиальность, забыли, как он в двадцатые-тридцатые годы боролся с чумой — и побеждал, Сережешка! Сам жизнью рисковал ежеминутно и трусов не терпел.

Страшное дело — чума. Сейчас о ней как-то не слышать, ну, там-сям отдельные случаи, — это, кстати, заслуга Пал Антоныча! — а ведь тогда это же шло как эпидемия. Зараженные степи, села, целые районы... Пал Антоныч и его коллеги ставили опыты: кто же разносит чуму? Хорошо, крысы, но какие? Так оказалось, вообразите, что всякие! Домашние, чердачные, корабельные, канализационные, бродячие, полевые. Больше того, все эти с виду невинные зайчики, суслики, даже маленькие мышки... Тушканчики, хорьки, землеройки! Да что там, я ушам своим не поверила, когда узнала, но Павел Антоныч особо подчеркивал: верблюды! Вы понимаете? Никому верить нельзя. Кто бы мог подумать? Да, да, и среди верблюдов чума. А вы представляете, каково это — опыты на верблюде? Он же огромный! А его ловят, заражают, берут у него, зараженного, анализы, причем все сами, своими руками. Держат в загоне, сами кормят, сами навоз вывозят. А он анализы давать не хочет, а он в вас же еще и плюет — чумной-то. И норовит попасть в лицо.

Нет, врачи святые, я всегда говорю. А потом? Ну, потом, убедившись, что заразен, умерщвляют, конечно. Что ж? Он же других перезаразит?

Потом началась война, Пал Антоныча перебросили на другой профиль. Да, работы только прибавилось. Вой-

на, война... Да что я вам рассказываю, вы сами все пережили.

Во время войны они и познакомились, теща с Пал Антонычем. Поженились, виделись урывками. Ему нравилось, что она такая молоденькая, живая... Хотел приодеть ее, шубу вот эту прислал... Он и сам был доволен: надень-ка шубу, Машенька... Беспокоился, на лето нафталин доставал. И вот такой удар...

Мягкая, чудесная, понимающая женщина — Марья Максимовна. Странный этот пунктик — не может забыть шубу. Все-таки женщина, им это важно. У каждого свои воспоминания. Она ему о шубе, Сергей ей — о шапке. Сочувствовала. Леночка улыбалась обоим, витая в своих неясных мыслях. Ровный, бесстрастный характер у Леночки, будто не жена ему, а сестра. Мать и сестра — о чем еще мечтать потерявшемуся мальчику?

Сергей прибил полочку в своем закуте, расставил любимые книги. Сюда бы еще раскладушку. Но спать ходил в спальню, к Леночке. Ночью лежал без сна, смотрел в ее тихое личико с розовыми тенями у глаз, удивлялся: кто такая? О чем думает, что ей снится? Спросишь — пожмет плечами, помалкивает. Голоса никогда не повысит, наследит Сергей снегом — не заметит, курит Сергей в спальне — на здоровье... Читает, что под руку подвернется. Камю так Камю, Сергеев-Ценский — тоже хорошо. Какой-то холодок от нее. Дочка усатого, очкастого Павла Антоныча... Странно.

Пал Антоныч... Висит на стене в столовой, в раме, ночные тени ходят по его лицу. Рос дуб и рухнул. Давно рухнул, вот и Леночка его не помнит. А все же он тут — бродит по коридору взад-вперед, поскрипывает половицами, трогает ручку двери. Пальцем проводит по обоям, по кленовым листочкам, по книжным полкам — хорошее наследство оставил дочери. Слушает, не пискнет ли крыса? Домашняя, чердачная, полевая, корабельная, бродячая... Ах ты, зверь, ты, зверина, ты скажи свое имя: ты не смерть ли моя? Ты не съешь ли меня? Я не смерть

твоя, я не съем тебя: ведь я зайчика, ведь я серенький... Зайцы — тоже разносчики чумы. Особо опасная инфекция... Прогноз крайне неблагоприятен... В случае подозрения на заболевание чумой посылается экстренное донесение... Больные и все лица, бывшие с ними в контакте, изолируются. Сам-то боялся ли? Все-таки большой человек. В гневе страшен, в работе честен. Зачем вот только с шубой?..

А вдруг Пал Антоныч — Сергеев отец? Вдруг у него, пожилого, была другая жена — еще до Марьи Максимовны? Вынырнуть из небытия, обрести прочную цепь предков — Павел Антонович, Антон Феликсович, Феликс Казимирович... Почему бы и нет? Вариант реальный...

Снял шубу с крючка, вывернул — мехом внутрь, ландышами наружу, зашуршала шелковая бумага. Веребочку! Битте. Коленом наступил, подтянул потуже, затянул узел чистыми медицинскими пальцами. И еще раз. Подергал — не развяжется. Взял, не побрезговал. За развороченные рельсы, за взрыв, за опаленную голову сына, за вспыхнувшую факелом маму, за шапку, выбившую детскую память. Всплывает лицо с закрытыми глазами, кто-то качает головой: нельзя, не бери. Отец, не бери! Через три года сперли на рынке. Как он кричал! Паня, домработница, конечно, была в сговоре. Подумайте сами — чтобы вот так, в мгновение ока... Безусловно, шайка работала. Марья Максимовна бы еще ладно, махнула рукой, но Пал Антоныч по своему характеру просто не мог стерпеть. Паню — под суд! Да, да! Кому вы передали шубу? Кто ваши сообщники? Когда вы вступили в преступный сговор? Сколько вам причиталось за сделку? Паня — баба глупая, темная, несла какую-то ересь, путалась в показаниях, противно было слушать. Короче — засудили. Но шубы так и не нашли. Пропала. Теплая, кудрявая, подкладка скользкая, шелковая...

«Я это уже пятый раз слушаю», — сказал Сергей, сердито укрываясь одеялом. «Ну и что ж? Мама переживает». — «Да, но сколько же можно? Подумаешь,

Акакий Акакиевич!» — «Я тебя не пошмаю, ты что, во-рам сочувствуешь?» — «При чем тут... А он что, не украл?» — «Папа?! Папа был честнейший человек!»

Темная баба — Паня. Сгнула, пропала, исчезла. Засудили. Деревенская тетка, муж погиб на фронте. Розовый гребень. Нет, гребень у Клавы. Ни лица, ни голо-са — сплошное белое пятно. Он — Панин сын. Возможно, возможно. Отец погиб, а она бежала с ним болотами, проваливалась, продиралась через леса, побиралась, просила кипятку на станциях, выла. Поезд, взрыв, рельсы винтом, шанкой по лицу, черной шапкой, чтоб отшибло память. Лежишь, вглядываешься во тьму — глубже, глубже, до предела, — нет, там стена. Паня потеряла его на станции. Ее увезли без сознания. Она очнулась — где Сережа? Или Петя, Витя, Егорушка? Кто-то видел, как тушили горевшего мальчика. Она идет, ищет его по городам. Открывает все двери, стучит во все окна: не видели ли? Темный платок, и глаза ввалились... В прислуги к Пал Антонычу. Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня? Нет, я запянка, нет, я серенький. «Паня, поедете со мной, поддержите шубу». Погоди, не ездите! «Хозяйка, я сына потеряла, до вашей ли шубы мне?» И чтобы осталась дома. И чтобы еще двадцать пять лет в закуте. Тут Сергей женится на Леночке, приходит в дом, Паня всматривается, узнает... Да не могла она украсть, она же закрывала глаза и качала головой: не бери. В случае подозрения посылается экстренное донесение. Домашняя, чердачная, бродячая, полевая. Подкладка шелковая. Сережа, вбейте гвоздик.

Хорошо, пусть она украдала! Нищая, голодная, как эти воровавшие мальчики, дом сожжен, сын потерян, муж погиб в болотах. Пусть она соблазнилась лиловыми ландышами. Я не вобью в нее гвоздик. Я ее сын. Паня — моя мать, это решено, чтоб вы знали. А зачем он снял шубу с крючка? Эта шуба — Паниного мужа, это он должен был дойти, доползти, протянуть к крючку обгорелую руку — нет, не взял бы, побрезговал. А вы, ясно-

вельможный пане, не побрезговали. А я женат на вашей дочери. Пал Антоныч мой отец. Иначе зачем он мучает меня пропавшей шубой, шевелит орденами, вздыхает за стеной? Скажи свое имя! Крепко взявшись за руки, цепь предков уходит вглубь, погружаясь в темный студень времени. Становись к нам, безымянный, присоединяйся! Отыщи свое звено в цепи! Павел Антоныч, Антон Феликсович, Феликс Казимирович. Ты наш наследник, ты валялся на нашей кровати, любил Леночку, ты не моргнув глазом ел наши булочки — каждая изюминка в них вырвана нами у домашних, бродячих, чердачных; для тебя мы кашляли страшной мокротой, вздувались бубонами, для тебя заражали верблюдов, плевавших нам в лицо, — не отмараешься от нас. Мы построили тебе, безымянному, чистенькому, дом, очаг, кухню, коридор, спальню, закут, зажгли лампы и расставили книги. Мы наказали поднявших руку на наше имущество. Али-Баба! — О чем, слуга? — Тяни рукава! — С какого конца?..

Паня брала у своих. А Пал Антоныч — у чужих. Паня призналась. А Пал Антоныч пострадал от наветов. Чаши весов выровнялись. А ты что сделал? Пришел, поел, осудил? В противочумных очках, в резиновых бахилах, с огромным шприцем шел Пал Антоныч на верблюда. Уж я смерть твоя, уж я съем тебя! И мыши болеют, и зайцы. Все болеют, все. Не надо кичиться.

Леночка не желала больше слышать про Сергееву шапку. Как будто нет других разговоров. И вообще... Дети, не кричите! Я не понимаю, кто она такая? Зачем она вышла за меня замуж? Если ей на все наплевать... Как в воде вымоченная... Не человек, а мыльная пена какая-то! Сережа, как громко вы кричите! Вылитый Павел Антоныч. Тихо, тихо. Леночке в ее положении нужен покой.

Леночка, не сердись на меня. Хорошо, хорошо, Сереженька. Вбей гвоздик — пеленки надо повесить. Ты бы лег в закуте, а то тебе Антошка спать не даст. Тень

листьев падает на крошечное личико, на кружевную простыню; младенец спит, подняв стиснутые кулачки, лобик наморщен — силится что-то понять. Рыбки уснули в пруду. Птички уснули в саду. Кто там вздохнул за стеной? Что нам за дело, родной!

Спи спокойно, сынок, уж ты-то ни в чем не повинен. Чумные кладбища засыпаны известью, степные маки навевают сладкие сны, верблюды заперты в зоопарках, теплые листья шелестят над твоей головой — о чем? Не все ли тебе равно!

СОНЯ

Жил человек — и нет его. Только пмя осталось — Соня. «Помните, Соня говорила...» «Платье, похожее как у Сони...» «Сморкаешься, сморкаешься без конца, как Соня...» Потом умерли и те, кто так говорил, в голове остался только след голоса, бес-телесного, как бы исходящего из черной пасти телефонной трубки. Или вдруг раскроется, словно в воздухе, светлой живой фотографией солнечная комната — смех вокруг накрытого стола, и будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти, тоже изогнувшиеся в кудрявых розовых улыбках. Смотри скорей, пока не погасло! Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен? Но светлая комната дрожит и меркнет, и уже просвечивают марлей спины сидящих, и со страшной скоростью, распадаясь, уносится вдаль их смех — догони-ка.

Нет, стойте, дайте вас рассмотреть! Сидите, как сидели, к назовитесь по порядку! Но напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками. Веселая смеющаяся фигура оборачивается большой, грубо раскрашенной тряпичной куклой, валится со стула, если не подоткнешь ее сбоку; на бессмысленном лбу — потеки клея от мочального парика, а голубые стеклянистые глазки соединены внутри пустого черепа железной дужкой со свинцовым шариком противовеса. Вот чертова перещипца! А ведь притворялась живой и любимой! А смеющаяся компания порхнула прочь и, поправ тугие законы пространства и времени, щебечет себе вновь в каком-то недоступном закоулке мира, вовеки нетленная, нарядно бессмертная, и, может быть, покажется вновь на одном из поворотов пути — в самый неподходящий момент, и, конечно, без предупреждения.

Ну раз вы такие — живите как хотите. Гоняться за вами — все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой. Но хотелось бы поподробнее узнать про Соню.



Ясно одно — Соня была дура. Это ее качество никто никогда не оспаривал, да теперь уж и некому. Приглашенная в первый раз на обед, — в далеком, желтоватой дымкой подернутом тридцатом году, — истуканом сидела в торце длинного накрахмаленного стола, перед конусом салфетки, свернутой как было принято — домиком. Стыло бульонное озерцо. Лежала праздная ложка. Достоинство всех английских королей, вместе взятых, заморозило Сонины лошадиные черты.

— А вы, Соня, — сказали ей (должно быть, добавили и отчество, но теперь оно уже безнадежно утрачено), — а вы, Соня, что же не кушаете?

— Перцу дожидаюсь, — строго отвечала она ледяной верхней губой.

Впрочем, по прошествии некоторого времени, когда уже выяснились и Сонины незаменимость на кухне в предпраздничной суете, и швейные достоинства, и ее готовность погулять с чужими детьми и даже посторожить их сон, если все шумной компанией отправляются на какое-нибудь неотложное увеселение, — по прошествии некоторого времени кристалл Сониной глупости засверкал иными гранями, восхитительными в своей непредсказуемости. Чуткий инструмент, Сонины душа улавливала, очевидно, тональность настроения общества, пригревшего ее вчера, но, зазевавшись, не успевала перестроиться на сегодня. Так, если на поминках Соня бодро вскрикивала: «Пей до дна!» — то ясно было, что в ней еще живы недавние именины, а на свадьбе от Сониных гостей веяло вчерашней кутьей с гробовыми мармеладками.

«Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?» — спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену. В такие моменты насмешник Лев Адольфович, вытянув губы трубочкой, высоко подняв лохматые брови, мотал головой, блеснул мелкими очками: «Если человек мертв, то это надолго, если он глуп, то это навсегда!»

Что же, так оно и есть, время только подтвердило его слова.

Сестра Льва Адольфовича, Ада, женщина острая, худая, по-змеиному элегантная, тоже попавшая однажды в неловкое положение из-за Сониного идиотизма, мечтала ее наказать. Ну, конечно, слегка — так, чтобы и самим посмеяться, и дурочке доставить небольшое развлечение. И они шептались в углу — Лев и Ада, — выдумывая что поостроумнее.

Стало быть, Соня шила... А как она сама одевалась? Безобразно, друзья мои, безобразно! Что-то синее, полосатое, до такой степени к ней не идущее! Ну вообразите себе: голова как у лошади Пржевальского (подметил Лев Адольфович), под челюстью огромный висячий бант блузки торчит из твердых створок костюма, и рукава всегда слишком длинные. Грудь впалая, ноги такие толстые — будто от другого человеческого комплекта, и кошачьи ступни. Обувь набок снашивала. Ну, грудь, ноги — это не одежда... Тоже одежда, милая моя, это тоже считается как одежда! При таких данных надо особенно соображать, что можно носить, чего нельзя!.. Брошка у нее была — эмалевый голубок. Носила его на лацкане жакета, не расставалась. И когда переодевалась в другое платье — тоже обязательно прицепляла этого голубка.

Соня хорошо готовила. Торты накручивала великолепные. Потом вот эту, знаете, требуху, почки, вымя, мозги — их так легко испортить, а у нее выходило — пальчики оближешь. Так что это всегда поручалось ей. Вкусно, и давало повод для шуток. Лев Адольфович, вытягивая губы, кричал через стол: «Сонечка, ваше вымя меня сегодня просто потрясает!» — и она радостно кивала в ответ. А Ада сладким голоском говорила: «А я вот в восторге от ваших бараньих мозгов!» — «Это телячьи», — не понимала Соня, улыбаясь. И все радовались: ну не прелесть ли?!

Она любила детей, это ясно, и можно было поехать в отпуск, хоть в Кисловодск, и оставить на нее детей и

квартиру — поживите пока у нас, Соня, ладно? — и, вернувшись, найти все в отменном порядке: и пыль вытерта, и дети румяные, сытые, гуляли каждый день и даже ходили на экскурсию в музей, где Соня служила каким-то там научным хранителем, что ли; скучная жизнь у этих музейных хранителей, все они старые девы. Дети успевали привязаться к ней и огорчались, когда ее приходилось перебрасывать в другую семью. Но ведь нельзя же быть эгоистами и пользоваться Соней в одиночку: другим она тоже могла быть нужна. В общем, управлялись, устанавливали какую-то разумную очередь.

Ну что о ней еще можно сказать? Да это, пожалуй, и все! Кто сейчас помнит какие-то детали? Да за пятьдесят лет никого почти в живых не осталось, что вы! И столько было действительно интересных, по-настоящему содержательных людей, оставивших концертные записи, книги, монографии по искусству. Какие судьбы! О каждом можно говорить без конца. Тот же Лев Адольфович, негодяй в сущности, но умнейший человек и в чем-то миляга. Можно было бы порасспрашивать Аду Адольфовну, но ведь ей, кажется, под девяносто, и — сами понимаете... Какой-то там случай был с ней во время блокады. Кстати, связанный с Соней. Нет, я плохо помню. Какой-то стакан, какие-то письма, какая-то шутка.

Сколько было Соне лет? В сорок первом году — там ее следы обрываются — ей должно было исполниться сорок. Да, кажется, так. Дальше уже просто подсчитать, когда она родилась и все такое, но какое это может иметь значение, если неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила до того дня, когда вышла на свет из неопределенности и села дожидаться перцу в солнечной, нарядной столовой.

Впрочем, надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна. В конце концов, эти ее банты, и эмалевый голубок, и чужие, всегда сентиментальные сти-

хи, не вовремя срывавшиеся с губ, как бы выплунутые длинной верхней губой, приоткрывавшей длинные, костяного цвета зубы, и любовь к детям, — причем к лю-
бым, — все это характеризует ее вполне однозначно. Ро-
мантическое существо. Было ли у нее счастье? О да!
Это — да! Уж что-что, а счастье у нее было.

И вот надо же — жизнь устраивает такие штуки! —
счастьем этим она была обязана всецело этой змее Аде
Адольфовне. (Жаль, что вы ее не знали в молодости.
Интересная женщина.)

Они собрались большой компанией — Ада, Лев, еще
Валерьян, Сережа, кажется, и Котик, и кто-то еще, — и
разработали уморительный план (поскольку идея была
Адина, Лев называл его «адским планчиком»), отлично
им удавшийся. Год шел что-нибудь такое тридцать тре-
тий. Ада была в своей лучшей форме, хотя уже и не
девочка, — фигурка прелестная, лицо смуглое с темно-
розовым румянцем, в теннис она первая, на байдарке
первая, все ей смотрели в рот. Аде было даже неудобно,
что у нее столько поклонников, а у Сони — ни одного.
(Ой, умора! У Сони — поклонники?!) И она предложе-
ла придумать для бедняжки загадочного дыхателя,
безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не
могущего с ней встретиться лично. Отличная идея! Фан-
том был немедленно создан, наречен Николаем, обремен-
ен женой и тремя детьми, поселен для переписки в квар-
тире Адиного отца — тут раздались было голоса про-
теста: а если Соня узнает, если сунется по этому ад-
ресу? — но аргумент был отвергнут как несостоятель-
ный: во-первых, Соня дура, в том-то вся и штука; ну а
во-вторых, должна же у нее быть совесть — у Николая
семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же
ей ясно пишет, — Николай-то есть, — дорогая, ваш неза-
бываемый облик навеки отпечатался в моем израненном
сердце (не надо «израненном», а то она поймет букваль-
но, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено
быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее,

но чувство, — пишет далее Николай, — нет, лучше: истинное чувство — оно согреет его холодные члены («То есть как это, Адочка?» — «Не мешайте, дураки!») путеводной звездой и всякой там пышной розой. Такое вот письмо. Пусть он видел ее, допустим, в филармонии, любовался ее тонким профилем (тут Валериан просто свалился с дивана от хохота) и вот хочет, чтобы возникла такая возвышенная переписка. Он с трудом узнал ее адрес. Умоляет прислать фотографию. А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дури-те! Надо будет — парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу «Шипром», Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт. Жить было весело!

Переписка была бурной с обеих сторон. Соня, дура, клюнула сразу. Влюбилась так, что только отгаскивай. Пришлось слегка сдерживать ее пыл: Николай писал примерно одно письмо в месяц, притормаживая Соню с ее разбушевавшимся купидоном. Николай изощрялся в стихах: Валериану пришлось попотеть. Там были просто перлы, кто понимает, — Николай сравнивал Соню с лилеей, лианой и газелью, себя — с соловьем и джейраном, причем одновременно. Ада писала прозаический текст и осуществляла общее руководство, останавливая своих резвившихся приятелей, дававших советы Валериану: «Ты напиши ей, что она — гну. В смысле антилопа. Моя божественная гну, я без тебя иду ко дну!» Нет, Ада была на высоте: трепетала Николаевой нежностью и разверзала глубины его одинокого мятущегося духа, настаивала на необходимости сохранять платоническую чистоту отношений и в то же время подпускала намеки на разрушительную страсть, время для проявления коей еще почему-то не пришло. Конечно, по вечерам Николай и Соня должны были в назначенный час поднять взоры к

одной и той же звезде. Без этого уж никак. Если участники эпистолярного романа в эту минуту находились поблизости, они старались помешать Соне раздвинуть занавески и украдкой бросить взгляд в звездную высь, звали ее в коридор: «Соня, подите сюда на минутку... Соня, вот какое дело...», наслаждаясь ее смятением: заветный миг надвигался, а Николаев взор рисковал проболтаться попусту в окрестностях какого-нибудь там Сириуса или как его — в общем, смотреть надо было в сторону Пулкова.

Потом затея стала надоедать: сколько же можно, тем более что из томной Сони ровным счетом ничего нельзя было вытянуть, никаких секретов; в наперсницы к себе она никого не допускала и вообще делала вид, что ничего не происходит, — надо же, какая скрытная оказалась, а в письмах горела неугасимым пламенем высокого чувства, обещала Николаю вечную верность и сообщала о себе все-превсе: и что ей снится и какая пичужка где-то там прощebetала. Высылала в конвертах вагоны сухих цветов, и на один из Николаевых дней рождения послала ему, отцепив от своего ужасного жакета, свое единственное украшение: белого эмалевого голубка. «Соня, а где же ваш голубок?» — «Улетел», — говорила она, обнажая костяные лошадиные зубы, и по глазам ее ничего нельзя было прочесть. Ада все собиралась умертвить, наконец, обременявшего ее Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен. В письме, приложенном к голубку, Соня клялась непременно отдать за Николая свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света.

Весь мыслимый урожай смеха был уже собран, проклятый Николай каторжным ядром путался под ногами, но бросить Соню одну, на дороге, без голубка, без возлюбленного, было бы бесчеловечно. А годы шли; Валериян, Котик и, кажется, Сережа по разным причинам отпали от участия в игре, и Ада мужественно, угрюмо, одна несла свое эпистолярное бремя, с ненавистью выпекая,

как автомат, ежемесячные горячие почтовые поцелуи. Она уже сама стала немного Николаем и порой в зеркале при вечернем освещении ей мерещились усы на ее смугло-розовом личике. И две женщины на двух концах Ленинграда, одна со злобой, другая с любовью, строчили друг другу письма о том, кого никогда не существовало.

Когда началась война, ни та ни другая не успели эвакуироваться. Ада копала рвы, думая о сыне, увезенном с детским садом. Было не до любви. Она съела все, что было можно, сварила кожаные туфли, пила горячий бульон из обоев — там все-таки было немного клейстера. Настал декабрь, кончилось все. Ада отвезла на саночках в братскую могилу своего папу, потом Льва Адольфовича, затопила печурку Диккенсом и негнушимися пальцами написала Соне прощальное Николаево письмо. Она писала, что все ложь, что она всех ненавидит, что Соня — старая дура и лошадь, что ничего не было и что будьте вы все прокляты. Ни Аде, ни Николаю дальше жить не хотелось. Она отперла двери большой отцовской квартиры, чтобы похоронной команде легче было войти, и легла на диван, навалив на себя пальто папы и брата.

Неясно, что там было дальше. Во-первых, это мало кого интересовало, во-вторых, Ада Адольфовна не очень-то разговорчива, ну и, кроме того, как уже говорилось, время! Время все съело. Добавим к этому, что читать в чужой душе трудно: темно, и дано не всякому. Смутные домыслы, попытки догадок — не больше.

Вряд ли, я полагаю, Соня получила Николаеву могильную весть. Сквозь тот черный декабрь письма не проходили или же шли месяцами. Будем думать, что она, возведя полуслепые от голода глаза к вечерней звезде над разбитым Пулковом, в этот день не почувствовала магнетического взгляда своего возлюбленного и поняла, что час его пробил. Любящее сердце — уж говорите, что хотите — чувствует такие вещи, его не обманешь. И, догадавшись, что пора, готовая испепелить себя ради спа-

сения своего единственного, Соня взяла все, что у нее было — баночку довоенного томатного сока, сбереженного для такого вот смертного случая, — и побрела через весь Ленинград в квартиру умирающего Николая. Сока там было ровно на одну жизнь.

Николай лежал под горой пальто, в ушанке, с черным страшным лицом, с запекшимися губами, но гладко побритый. Соня опустилась на колени, прижалась глазами к его отекающей руке со сбитыми ногтями и немножко поплакала. Потом она напоила его соком с ложечки, подбросила книг в печку, благословила свою счастливую судьбу и ушла с ведром за водой, чтобы больше никогда не вернуться. Бомбили в тот день сильно.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о Соне. Жил человек — и нет его. Одно имя осталось.

...— Ада Адольфовна, отдайте мне Сонины письма!

Ада Адольфовна выезжает из спальни в столовую, поворачивая руками большие колеса инвалидного кресла. Сморщенное личико ее мелко трясется. Черное платье прикрывает до пят безжизненные ноги. Большая камешка приколота у горла, на камешке кто-то кого-то убивает: щиты, копыя, враг изящно упал.

— Письма?

— Письма, письма, отдайте мне Сонины письма!

— Не слышу!

— Слово «отдайте» она всегда плохо слышит, — раздраженно шипит жена внука, косясь на камешку.

— Не пора ли обедать? — шамкает Ада Адольфовна.

Какие большие темные буфеты, какое тяжелое столовое серебро в них, и вазы, и всякие запасы: чай, варенья, крупы, макароны. Из других комнат тоже виднеются буфеты, буфеты, гардеробы, шкафы — с бельем, с книгами, со всякими вещами. Где она хранит пачку Сониных писем, ветхий пакетик, перехваченный бечевкой, потрескивающий от сухих цветов, желтоватых и прозрачных, как стрекозиные крылья? Не помнит или не хочет говорить? Да и что толку — приставать к трясущейся пара-

лизованной старухе! Мало ли у нее самой было в жизни трудных дней? Скорее всего она бросила эту пачку в огонь, встав на распухшие колени в ту ледяную зиму, во вспыхивающем кругу минутного света, и, может быть, робко занявшись вначале, затем быстро чернея с углов, и, наконец, взвившись столбом гудящего пламени, письма согрели, хоть на краткий миг, ее скрюченные, окочевшие пальцы. Пусть так. Вот только белого голубка, я думаю, она должна была оттуда вынуть. Ведь голубков огонь не берет.

ФАКИР

Филин — как всегда, неожиданно — возник в телефонной трубке и пригласил в гости: посмотреть на его новую пассию. Программа вечера была ясна: белая хрустящая скатерть, свет, тепло, особые слоеные пирожки по-тмутаракански, приятнейшая музыка откуда-то с потолка, захватывающие разговоры. Всюду синие шторы, витрины с коллекциями, по стенам развешаны бусы. Новые игрушки — табакерка ли с портретом дамы, упивающейся своей розовой голой напудренностью, бисерный кошелек, пасхальное, может быть, яйцо или же так что-нибудь — ненужное, но ценное.

Сам Филин тоже не оскорбит взгляда — чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке, маленькая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным, жлобским, «за рупь пятьдесят с коробочкой», — зачем? — нет, прямо из раскопок, венецианским, если не врет, а то и монетой в оправе — какой-нибудь, прости господи, Антиох, а то поднимай выше... Таков Филин. Сядет в кресло, покачивая туфлей, пальцы сложит домиком, брови дегтярные, прекрасные анатолийские глаза — как сажа, борода сухая, серебряная, с шорохом, только у рта чернотно — словно уголь ел.

Есть, есть на что посмотреть.

Дамы у Филина тоже не какие-нибудь — коллекционные, редкие. То циркачка, допустим, — вьется на шесте, блистая чешуей, под гром барабанов, или просто девочка, мамина дочка, мажет акварельки, — ума на пяточок, зато сама белизны необыкновенной, так что Филин, зоя на смотрины, даже предупреждает: непременно, мол, приходите в черных очках во избежание снежной слепоты.

Кое-кто Филина втихомолку не одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками; хихикали насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто бы серебряных япычарских тапок с загнутыми но-

сами; и смешно было, что у него в ванной — специальная щетка для бороды и крем для рук — у холостяка-то... А все-таки позовет — и бежали, и втайне всегда холодели: пригласит ли еще? даст ли посидеть в тепле и свете, в неге и холе, да и вообще — что он в нас, обыкновенных, нашел, зачем мы ему нужны?..

...— Если вы сегодня ничем не заняты, прошу ко мне к восьми часам. Познакомьтесь с Алисой — преле-естное существо.

— Спасибо, спасибо, обязательно!

Ну как всегда, в последний момент! Юра потянулся к бритве, а Галя, змеей влезая в колготки, инструктировала дочь: каша в кастрюле, дверь никому не открывать, уроки — и спать! И не висни на мне, не висни, мы и так опаздываем! Галя напихала в сумку полиэтиленовых пакетов: Филин живет в высотном доме, под ним гастроном, может быть, селедочное масло будут давать или еще что перепадет.

За домом обручем мрака лежала окружная дорога, где посвистывал мороз, холод безлюдных равнин проник под одежду, мир на миг показался кладбищенски страшным, и они не захотели ждать автобуса, тесниться в метро, а поймали такси, и, развалясь с комфортом, осторожно побранили Филина за бархатный пиджак, за страсть к коллекционированию, за незнакомую Алису: а где прежняя-то, Нипочка? — нищи свищи; погадали, будет ли в гостях Матвей Матвевич, и дружно Матвей Матвевича осудили.

Познакомились они с ним у Филина и так были стариком очарованы: эти его рассказы о царствовании Анны Иоанновны, и опять же пирожки, и дымок английского чая, и синие с золотом коллекционные чашки, и журчащий откуда-то сверху Моцарт, и Филин, ласкающий гостей своими мефистофельскими глазами — фу-ты, голова одурела, — напросились к Матвей Матвевичу в гости. Разбежались! Принял на кухне, пол дощатый, стены кирпичевые, голые, да и вообще район кошмарный, заборы

и ямы, сам в тренировочных штанах, совершенно уже белесых, чай спитой, варенье засахаренное, да и то прямо в банке на стол брякнул, ложку сунул: выковыривайте, мол, гости дорогие. А курить — только на лестничной площадке: астма, не обессудьте. И с Анной Иоанновной прокол вышел: расположились — бог с ним, с чаем — послушать журчащую речь про дворцовые шуры-муры, всякие там перевороты, а старик все развязывал жуткие папки с тесемками, все что-то тыкал пальцем, крича о каких-то земельных наделах, и что вот Кузин, бездарь, чинуша, интриган, печататься не дает и весь сектор против Матвей Матвейча настраивает, но ведь вот же, вот же: ценнейшие документы, всю жизнь собирал! Галя с Юрой хотели опять про злодеев, про пытки, про ледяной дом и свадьбу карликов, но не было рядом Филина и некому было направить разговор на интересное, а весь вечер только Ку-у-узин! Ку-у-узин! — и тыканье в папки, и валерьянка. Уложив старика, рано ушли, и Галя порвала колготки о старикову табуретку.

— А бард Власов? — вспомнил Юра.

— Молчи уж!

С тем все вышло вроде бы наоборот, но позор страшный: тоже подцепили у Филина, пригласили к себе, назвали приятелей — слушать, отстояли два часа за тортом «Полено». Заперли дочь в детской, собаку на кухне. Пришел бард Власов, хмурый, с гитарой, торт и пробовать не стал: крем смягчит голос, а ему нужно, чтоб было хрипло. Пропел пару песен: «Тетя Мотя, ваши плечи, ваши перси и ланиты, как у Нади Команечи, физкультурой развиты...» Юра позорился, вылезал со своим невежеством, громко шептал посреди пения: «Я забыл, перси — это какие места?» Галя волновалась, просила, чтобы непременно спеть «Друзья», прижимала руки к груди: это такая песня, такая песня! Он пел ее у Филина — мягко, грустно, заунывно, — вот, мол, «за столом, клеенкой покрытым, за бутылкой пива собравшись» си-

дят старые друзья, лысые, неудачники. И у каждого что-то не так, у каждого своя грусть: «одному любовь не под силу, а другому князь не по нраву», — и никто-то никому помочь не может, увы! — но ведь вот же они вместе, они друзья, они нужны друг другу, и разве это не самое важное на свете? Слушаешь — и кажется, что — да-да-да, у тебя тоже что-то такое примерно в жизни, да, вот именно! «Во — песня! Коронный номер!» — шептал и Юра. Бард Власов еще больше нахмурился, сделал далекий взгляд — туда, в ту воображаемую комнату, где любящие друг друга плешивцы откупоривали далекое пиво; перебрал струны, начал печально: «за столом, клеенкой покрытым...» Запертая в кухне Джулька заскребла когтями по полу, завывала. «За бутылкой пива собравшись», — поднажал бард Власов. «Ы-ы-ы», — волновалась собака. Кто-то хрюкнул, бард оскорбленно зажал струны, взял папиросу. Юра пошел делать Джульке внушение. «Это у вас автобиографическое?» — почтительно спросил какой-то дурак. «Что? У меня все где-то автобиографическое». Юра вернулся, бард бросил окурок, сосредоточиваясь. «За столом, клеенкой покрыты-ым...» Мучительный вой пошел из кухни. «Музыкальная собачка», — со злобой сказал бард. Галя поволокла упирающуюся овчарку к соседям, бард поспешно допел — вой глухо проникал сквозь кооперативные стенки, — скомкал программу, и в прихожей, дергая «молнию» куртки, с отворачиванием сообщил, что вообще-то он берет по два рубля с носа, но раз они не умеют организовать творческую атмосферу, то сойдет и по рублю. И Галя опять побежала к соседям, — кошмар, одолжите червонец, — и те, тоже перед получкой, долго собирали мелочью и вытрясли даже детскую копилку под рев обобранных детей и лай рвущейся Джульки.

Да, вот Филин с людьми умеет, а мы — как-то нет. Ну, может быть, в другой раз получится.

Время до восьми еще было — как раз чтобы постоять за паштетом в гастрономе у Филинова подножия,

ведь вот, тоже, — на нашей-то окраине коровы среди бела дня шляются, а паштета что-то не видать. Без трех восемь вступить в лифт — Галя, как всегда, оглядится и скажет: «В таком лифте жить хочется», потом вощеный паркет безбрежной площадки, медная табличка: «И. И. Филин», звонок — и наконец он сам на пороге. — просияет черными глазами, наклонит голову: «Точность — вежливость королей...» И как-то ужасно приятно это услышать, эти слова, — словно он, Филин, султан, а они и впрямь короли, — Галя в недорогом пальто и Юра в куртке и вязаной шапочке.

И вplyвут они, королевская чета, избранная на один вечер, в тепло и свет, в сладкие фортепьянные рулады, и прошествуют к столу, где разморенные розы знать не знают ни о каком морозе, ветре, тьме, что обступили неприступную Филинову башню, бессильные пробраться внутрь.

Что-то неуловимо новое в квартире... а, понятно: витрина с бисерными безделушками сдвинута, бра переехало на другую стену, арка, ведущая в заднюю комнату, зашторена, и, отогнув эту штору, выходит и подает руку Алиса, прелестное якобы существо.

— Аллочка.

— Да, вообще-то она Аллочка, но мы с вами будем звать ее Алисой, не правда ли? Прошу к столу, — сказал Филин. — Ну-с! Рекомендую паштет. Редкостный! Таких паштетов, знаете ли...

— Внизу брали, вижу, — обрадовался Юра. — И спускаемся мы-ы. С пак-каренных вершин-н. Ведь когда-то и боги спуска-ались на землю. Верно?

Филин тонко улыбнулся, повел бровями — дескать, может, да, внизу брал, а может, и нет. Все-то вам надо знать. Галя мысленно пнула мужа за бестактность.

— Оцените тарталетки, — начал новый заход Филин. — Боюсь, что вы последние, кто их пробует на этой многогрешной земле.

Сегодня он почему-то называл пирожки тарталетками — должно быть, из-за Алисы.

— А что случилось — муку снимают с продажи? В мировом масштабе? — веселился Юра, потирая руки, костистый нос его покраснел в тепле. Забулькал чай.

— Ничуть не бывало. Что мука! — махнул бородкой Филли. — Галочка, сахару... Что мука! Утерян секрет, друзья мои. Умирает — мне сейчас позвонили — последний владелец старинного рецепта. Девяносто восемь лет, инсульт. Вы попробуйте, Алиса, можно, я налью вам в мою любимую чашку?

Филли затуманил взгляд, как бы намекая на возможность особой близости, могущей возникнуть от такого интимного контакта с его возлюбленной посудой. Прелестная Алиса улыбнулась. Да что в ней такого прелестного? Черные волосы блестят как смазанные, нос крючком, усики. Платье простое, вязаное, цвета соленого огурца. Подумаешь. Здесь и не такие сиживали — где они теперь?

— ...И вы подумайте, — говорил Филли, — еще два дня назад заказал я этому Игнатию Кириллычу тарталетки. Еще вчера он их пек. Еще сегодня утром я их получил — каждую в папиросной бумажке. И вот — инсульт. Из Склифосовского дали мне знать. — Филли куснул слоеную бомбошку, поднял красивые брови и вздохнул. — Когда Игнатий еще мальчиком служил у «Яра», старый кондитер Кузьма, умирая, передал ему секрет этих изделий. Вы попробуйте. — Филли вытер бородку. — А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге у Вольфа и Беранже — знаменитые кондитеры. Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся пьян и не иснек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр Сергеич. Такой народ-с. Не угодно ли бушэ? Тру-убочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно. Кузьма проспался — Пушкин в гробу.

— О боже мой... — испугалась Галя.

— Да-да. И вы знаете, это так на всех подействовало. Вольф застрелился, Беранже принял православие, управляющий пожертвовал тридцать тысяч на богоугодные заведения, а Кузьма — тот просто рехнулся. Все, говорят, повторял: «Э-эх, Лексан Серге-и-ич... Тарталеточек моих не поели... Пообождали бы чуток...» — Филли бросил еще пирожок в рот и захрустел. — Дожил, однако, этот Кузьма до начала века. Дряхлыми руками передал рецепт ученикам. Игнатию тесто, другому кому-то начинку. Ну, после — революция, гражданская война. Тот, что начинку знал, в эсеры подался. Игнатий Кириллыч мой потерял его из виду. Проходит несколько лет — а Игнатий всё при ресторане, — вдруг что-то его дернуло, выходит он из кухни в зал, а там этот, с дамою. Монокль, усы отрастил — не узнать. Игнатий прямо как был, в муке, — к столику. «Пройдемте, товарищ». Тот заметался, а делать нечего. Идет, бледный, в кухню. «Говори, сволочь, мясную начинку». Куда денешься, прошлое-то подмочено. Сказал. «Говори капустную». Весь дрожит, но выдает. «Теперь саго». А саго у него было абсолю-у-утно засекречено. Молчит. Игнатий: «Саго!!!» И скалку берет. Тот молчит. Потом вдруг: а-а-а-а-а! — и побежал. Этот, эсер-то. Бросились, связали, смотрят, — а он в уме тронулся, глазами водит и пена изо рта. Так саго и не дознались. Да... А этот Игнатий Кириллыч интересный был старик, прихотливый. Как-к он слойку чувствовал, боже, как чувствовал!.. Пек на дому. Задерживал шторы, на два засова дверь закладывал. Я ему: «Игна-атий Кириллыч, голу-убчик, поделитесь секретом, что вам?..» — ни в какую. Все достойного преемника ждал. Теперь вот инсульт... Да вы попробуйте.

— Ой, как жалко... — огорчилась прелестная Алиса. — Как же их теперь есть? Мне всегда так жалко всего последнего... Вот у моей мамы до войны брошь была...

— Последний, случайный! — вздохнул Филли и взял еще пирожок.

— Последняя туча рассеянной бури, — поддержала Галя.

— Последний из могикан, — вспомнил Юра.

— Нет, вот у моей мамы жемчужная брошь была до войны...

— Все преходяще, милая Алиса, — жевал довольный Филин. — Все стареет — собаки, женщины, жемчуг. Вдохнем о мимолетности бытия и возблагодарим создателя за то, что дал нам вкусить того-сего на пиру жизни. Кушайте и вытрите слезки.

— Может быть, он еще придет в себя, Игнат этот?

— Не может, — заверил хозяин. — Забудьте об этом.

Жевали. Пела музыка над головами. Хорошо было.

— Чем новеньким побалуете? — поинтересовался Юра.

— А... Кстати напомнили. Веджвуд — чашки, блюдца. Молочник. Видите — синие на полочке. Да вот я сейчас... Вот...

— Ах... — Галя осторожно потрогала пальцем чашку — белые беззаботные танцы по синему туманному полю.

— А вам, Алиса, нравится?

— Хорошие... Вот у моей мамы до войны...

— А знаете, у кого я купил? Угадайте... У партизана.

— В каком смысле?

— Вот послушайте. Любопытная история. — Филин сложил пальцы домиком, с любовью глядя на полочку, где осторожно, боясь упасть, сидел пленный сервиз. — Бродил я осенью с ружьем по деревням. Захожу в избу. Мужик выносит мне парного молока. В чашке. Смотрю — настоящий Веджвуд! Что такое! Ну, разговорились, дядя Саша его зовут, где-то тут адрес у меня... ну, неважно. Что выяснилось. Во время войны партизанил он в

лесу. Раннее утро. Летит немецкий самолет. Жу-жу-жу, — изобразил Филин. — Дядя Саша голову поднял, а летчик плюнул — и прямо в него попал. Случайно, конечно. В дяде Саше, естественно, характер ка-ак взыграл, он бабах из пистолета — и немца наповал. Тоже случайно. Самолет свалился, осмотрели — пожалуйста, пять ящичков какао, шестой — вот, посуда. Видно, к завтраку вез. Я купил у него. Молочник с трещинкой, ну ничего. Раз такие обстоятельства.

— Врет ваш партизан! — восхитился Юра, озираясь и стуча кулаком по колену. — Ну как же врет! Фантастика!

— Ничего подобного. — Филин был недоволен. — Конечно, я не исключаю, что никакой он не партизан, а просто вульгарный воришка, но, знаете... как-то я предпочитаю верить.

Он пасутился и забрал чашку.

— Конечно, людям надо верить. — Галя под столом потоптала Юрину ногу. — Со мной тоже удивительный случай был. Юра, помнишь? Купила кошелек, принесла домой, а в нем — три рубля. Никто не верит!

— Почему же, я верю. Бывает, — рассудила Алиса. — Вот у моей мамы...

Поговорили об удивительном, о предчувствиях и вещих снах. У Алисы была подруга, наперед предсказавшая всю свою жизнь — брак, двоих детей, развод, раздел квартиры и вещей. Юра обстоятельно, в деталях, рассказал, как у одного знакомого угнали машину и как милиция остроумно вычислила и поймала вора, но вот в чем была соль — он как-то сейчас точно не припомнит. Филин поведал о знакомой собаке, которая открывала дверь своим ключом и разогревала обед в ожидании хозяев.

— Нет, ну каким же образом? — ахали женщины.

— Как каким? У них плита французская, электрическая, с приводом. Кнопку нажмешь — все включается.

Собака смотрит на часы: пора, идет на кухню, орудует там, ну, заодно и себе подогреет. Хозяева придут с работы, а щи уже кипят, хлеб нарезан, вилки-ложки приготовлены. Удобно.

Филип говорит, улыбался, покачивал ногой, поглядывал на довольную Алису, музыка смолкла, и город словно проступил за окнами. Темный чай курился в чашках, вился сладкий сигаретный дымок, пахло розами, а за окном тихо визжало под колесами Садовое кольцо, валил веселый народ, город сиял вязанками золотых фонарей, радужными морозными кольцами, разноцветным скрипучим снегом, а столичное небо сеяло новый прелестный снежок, свежий, только что изготовленный. И подумать только, все это пиршество, все эти вечерние чудеса раскинуты ради вот этой, ничем не особенной Алочки, пышно переименованной в Алису, — вот она сидит в своем овощном платье, раскрыла уса́тый рот и с восторгом глядит на всеильного господина, мановением руки, движением бровей преображающего мир до неузнаваемости.

Скоро Галя с Юрой уйдут, уползут на свою окраину, а она останется, ей можно... Галю взяла тоска. За что, ах, за что?

Посреди столицы угнездился дворец Филина, розовая гора, украшенная семо и овамо разнообразнейше, — со всякими зодческими эдакостями, штуkenциями и финтибрясами: на цоколях — башни, на башнях — зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд лезет книга — источник знаний, или высовывает педагогическую ножку циркуль, а то, глядишь, посередке вспучился обелиск, а на нем плотно стоит, обнявши сноп, плотная гипсовая жена, с пресветлым взглядом, отрицающим метели и ночь, с непорочными косами, с невинным подбородком... Так и чудится, что сейчас протрубят какие-то трубы, где-то ударят в тарелки и барабаны сыграют что-нибудь государственное, героическое.

И вечернее небо над Филиным, над его кудря-

вым дворцом, играет светом — кирпичным, сиреневым, — настоящее московское, театрально-концертное небо.

А у них, на окружной... боже мой, какая там сейчас густая, маслянисто-морозная тьма, как пусто в стылых провалах между домами, да и самих домов не видно, слились с ночным, отягощенным снежными тучами небом, только окна там и сям горят неровным узором; золотые, зеленые, красные квадратики сияются растолкать полярный мрак... Поздний час, магазины закрылись на заставы, последняя старушка выкатилась, прихватив с собой пачку маргарина и яйца-бой, никто не гуляет по улицам просто так, ничего не рассматривает, не глазает по сторонам, каждый порскнул в свою дверь, задернул занавески и тянет руку к кнопке телевизора. Глянешь из окна — окружная дорога, бездна тьмы, прочерчиваемая вдвоенными алыми огоньками, желтые жуки чьих-то фар... Вон проехало что-то большое, кивнуло огнями на колдобине... Вон приближается светлая палочка — огни во лбу автобуса, дрожащее ядрышко желтого света, живые икринки людей внутри... А за окружной, за последней слабой полосой жизни, по ту сторону заснеженной канавы, невидимое небо сползло и упирается тяжелым краем в свекольные поля, — тут же, сразу за канавой. Ведь невозможно, немислимо думать о том, что эта глухая тьма тянется и дальше, над полями, сливающимися в белый гул, над кое-как сплетенными изгородами, над придавленными к холодной земле деревнями, где обреченно дрожит тоскливый огонек, словно зажатый в равнодушном кулаке... а дальше вновь — темно-белый холод, горбушка леса, где тьма еще плотней, где, может быть, вынужден жить несчастный волк, — он выходит на бугор в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельником и кровью, дикостью, бедой, хмуро, с отвращением смотрит в слепые ветреные дали, снежные катыши набились между желтых потрескавшихся ногтей, и зубы стиснуты в печали, и мерзлая слеза вонючей бу-

синой висит на шерстяной щеке, и всякий-то ему враг, и всякий-то убийца...

Напоследок ели ананасы. А потом надо было выметаться. А до дома-то — ого-го сколько... Проспекты, проспекты, проспекты, темные метельные площади, пустыри, мосты и леса, и снова пустыри, и внезапные, голубые изнутри, неспящие заводы, и снова леса и летящий перед фарами снег. А дома — унылые зеленые обои, граненый стаканчик абажура в прихожей, тусклая теснота и знакомый запах, и приклепленная к стене цветная обложка женского журнала — для украшения. Румяные, противные супруги на лыжах. Она скалится, он греет ей руки. «Озябла?» — называется. «Озябла?» Сорвать бы проклятую, да Юра не дает — любит все спортивное, оптимистическое... Вот пусть и ловит такси!

Ночь вступила в глухие часы, закрылись все ворота, празднующиеся грузовики пронеслись мимо, звездная крыша окаменела от стужи, и грубый воздух свалился в комья. «Шеф, до окружной?..» — метался Юра. Галя скулила и поджимала ноги, попрыгивая на обочине, а за ее спиной, во дворце, догорало последнее окно, розы погружались в дремоту, Алиса лепетала про мамину брошь, а Филли, в халате с кистями, щекотал ее серебряной бородой: у-у, дорогая! Еще ананасов?

Этой зимой они были званы еще раз, и Аллочка уже болталась по квартире как своя, смело хватала дорогую посуду, пахла ландышем, позевывала.

Филли демонстрировал гостям Валтасарова — дремучего бородатого мужика, замечательного своей способностью к чревоуещанию. Валтасаров изображал стук в дверь, доение коровы, грохот телеги, далекий вой волков и как баба бьет тараканов. Звуки индустриальные ему не давались. Юра очень просил поднатужиться, изобразить хотя бы трамвай, но тот не соглашался ни в какую: «Грыжи боюсь». Гале было не по себе: в Валтасарове померещилась ей та степень одичания, до которой им с Юрой рукой подать — через окружную, за канаву, на ту сторону.

Устала она, что ли, за последнее время... Еще полгода назад она кинулась бы зазывать Валтасарова к себе, назвала бы приятелей, подала бы колотого сахару, ржаных лепешек, редьки, допустим, — чем там привык питаться чудо-крестьянин? — и мужик брякал бы коровьим боталом или гремел колодезной цепью под общий изумленный гвалт. Теперь же как-то вдруг ясно стало: ничего не выйдет. Позвать его — что ж, гости посмеются и разойдутся, а Валтасаров останется, попросится, пожалуй, ночевать. — освобождай комнату, а она проходная; спать он завалится часов с девяти, запахнет овцами, махоркой, сеновалом; ночью ощупью направится пить воду на кухню, свернет в темноте стул... Тихий мат, Джулька залает, дочь проснется... А может, он лунатик, войдет к ним в спальню в темноте, — в белой рубашке, в валенках... Шарить будет... А утром, когда вообще никого видеть не хочется, когда спешишь на работу, и голова всклокочена, и холодно, — старик будет сидеть на кухне, долго чаевничать, потом потащит из зипуна безграмотные бумажки: «Дочка, вот тут лекарство мне записали... От всего лечит... Как бы это достать...»

Нет, нет, нечего и думать с ним связываться!

Это только Филин, неутомимый, способен подбирать, кормить, развлекать кого попало, — ну и нас, и нас, конечно! О, Филин! Щедрый владелец золотых плодов, он раздает их направо и налево, насыщает голодных и поит жаждущих, он махнет рукой — и расцветают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны поют соловьями.

Вот какой он! Вот он какой!

А какие у него замечательные знакомые... Игнатий Кириллыч, тестознаец. Или эта балерина, к которой он ходит, — Дольцева-Еланская...

— Это, конечно, сценический псевдоним, — качает ногой Филин, любуясь потолком. — В девчестве — Собакина, Ольга Иеронимовна. По первому мужу — Кошкина, по второму — Мышкина. Так сказать, игра на пони-

жение. Гремела, гремела в свое время. Великие князья в очереди стояли, топазы мешками волокли. Слабость у нее была — дымчатые топазы. Но очень простая, душевная, прогрессивная женщина. После революции надумала отдать камушки народу. Сказано — сделано: снимает бусы, рвет нитку, ссыпает на стол. Тут звонок в дверь: пришли уплотнять. Ну пока то да се, возвращается — попугай склевал все подчистую. Птичкам, знаете, нужны камни для пищеварения. Нажрался миллионов на пять — и в форточку. Она за ним: «Кокоша, куда?! А народ?!» Он к югу. Она за ним. Добралась до Одессы, как — не спрашивайте. А тут пароход отчаливает, трубы дымят, крики, чемоданы, — публика бежит в Константинополь. Попугай — на трубу и сидит. Тепло ему там. Так эта Олечка Собакина, что вы думаете, зацепила своей тренированной ногой за трап и пароход остановила! И пока ей попугая не изловили, не отпустила. Вытрясла из него все до копейки и пожертвовала на Красный Крест. Правда, ножку ей пришлось ампутировать, но она не унывала, с костылями танцевала в госпиталях. Сейчас-то ей куча лет, лежит плашмя, пополнила. Хожу вот к ней, Стерна ей читаю. Да, Олечка Собакина, из купцов... Сколько же силы в нашем народе! Сколько силушки нерастраченной...

Галя смотрела на Филина с обожанием. Как-то вдруг сразу он перед ней раскрылся — красивый, бескорыстный, гостеприимный... Ах, везет этой Алке усатой! А она не ценит, глядит равнодушным, блестящим взглядом лемура на гостей, на Филина, на цветы и печенье, словно все это в порядке вещей, словно это так и надо! Словно далеко, на краю света, не томятся Галя дочь, собака, «Озябла», — заложники во мраке, на пороге осинового, дрожащего от злобы леса!

На десерт сли грейпфруты, начиненные креветками, а волшебный мужик пил чай с блюдечка.

И на сердце лежал камень.

Дома, лежа во тьме, слушая стеклянный звон осин на

ветру, гудение бессонной окружной дороги, шорох волчьей шерсти в дальнем лесу, шевеление озябшей свекольной ботвы под снежным покровом, думала: никогда нам отсюда не выбраться. Кто-то безмянный, равнодушный, как судьба, распорядился: этот, этот и этот пусть живут во дворце. Пусть им будет хорошо. А вон те, и те, и еще вот эти, и Галя с Юрой — живите там. Да не там, а во-о-о-он там, да-да, правильно. У канавы, за пустырями. И не лезьте, нечего. Разговор окончен. Да за что же?! Позвольте?! Но судьба уже повернулась спиной, смеется с другими, и крепка ее железная спина, — не достучишься. Хочешь — бейся в истерике, катайся по полу, молоти ногами, хочешь — затаись и тихо зверей, накапливая в зубах порции холодного яду.

Пробовали карабкаться, пробовали меняться, клеили объявления, до кружевных дыр резали и потрошили обменные бюллетени, униженно звонили по телефону: «У нас тут лес... чудный воздух... ребенку очень хорошо, и дачи не нужно... сама такая! От психа слышу!..» Заполняли тетради торопливыми пометками: «Зинаида Самойловна подумает...» «Ксана перезвонит...» «Петру Иванычу только с балконом...» Юра чудом нашел какую-то старуху, сидела одна в трехкомнатной квартире в бельэтаже на Патриарших Прудах, капризничала. Пятнадцать семей завертелись в обменной цепи, каждая со своими претензиями, инфарктами, сумасшедшими соседками, разбитыми сердцами, утерянными метриками. Капризную старуху возили на такси туда-сюда, доставали ей дорогие лекарства, теплую обувь, ветчину, сулили деньги. Вот-вот-вот уже все должно было свершиться, тридцать восемь человек дрожали и огрызались, рушились свадьбы, лопались летние отпуска, где-то в цепи пал некто Симмаков, прободение язвы, — неважно, прочь! — ряды сомкнулись, еще усилне, старуха юлит, сопротивляется, под страшным нажимом подписывает документы, и в тот момент, когда где-то там, в заоблачных сферах, розовый ангел воздушным пером уже заполнял ордера —

трах! она передумала. Вот так — взяла и передумала. И отстаньте все от нее.

Вопль пятнадцати семей потряс землю, отклонилась земная ось, изверглись вулканы, тайфун «Анна» смел молодое слаборазвитое государство, Гималаи стали еще выше, а Марианская впадина — еще глубже, но Галя и Юра остались там, где и были. И волки хохотали в лесу. Ибо сказано: кому велено чирикать, не мурлыкайте. Кому велено мурлыкать, не чирикайте.

«Донос, что ли, написать на старуху», — сказала Галя. «Да, но куда?» — осунувшийся Юра горел нехорошим пламенем, жалко было на него смотреть. Прикинули так и эдак — некуда. Разве апостолу Петру, чтобы не пускал в рай поганку. Юра набрал в карьере камней и поехал ночью на Патриаршие Пруды, чтобы выбить окна в бельэтаже, но вернулся с сообщением, что уже выбито — не они одни такие умные.

Потом поостыли, конечно.

Теперь она лежала и думала о Филине: как он складывает пальцы домиком, улыбается, покачивает ногой, как поднимает глаза к потолку, когда говорит... Ей так много нужно было бы ему сказать... Яркий свет, яркие цветы, яркая серебряная борода с черным пятном вокруг рта. Конечно, Алиса ему не пара, и страну чудес ей не оценить. Да и не заслужила. Тут должен быть кто-то понимающий...

— Бла-бла-бла, — зачмокал Юра во сне.

...Да, кто-то понимающий, чуткий... Малиновый халат ему отпаривать... Напускать ванну... Тапки что-нибудь...

Вещи поделить так: Юра пусть берет квартиру, собаку, мебель. Галя заберет дочь, что-нибудь из белья, утюг, стиральную машину. Тостер. Зеркало из коридора. Мамины хорошие вилки. Горшок с фиалкой. Вот и все, пожалуй.

Да нет, глупости. Разве может он понять Галину жизнь, Галино третьесортное бытие, унижения, тычки в

душу? Разве расскажешь! Разве расскажешь — ну вот хотя бы как Галя раздобыла — хитростью, подкупом, нужными звонками — билет в Большой театр — в партер!!! — один-единственный билет (правда, Юра искусством не заинтересовался), как мыла, парила и завивала себя, готовясь к большому событию, как вышла из дому на дыпочках, заранее лелея в себе золотую атмосферу возвышенного, — а была осень, грянул дождь, и такси не сыщешь, и Галя заметалась по слякоти, проклиная небеса, судьбу, градостроителей, а добравшись наконец до театра, увидела, что забыла дома туфли, а ноги-то — ой... Голенища в кляксах, на подошвах рыжие лепешки, а из них трава торчит клочьями — пырей вульгарный, сныть окраинная, гнусняк вездесущий. И даже подол в дрянце.

И Галя — ну что она такого сделала? — просто тихонько прокралась в туалет и носовым платочком мыла сапоги и застирывала позорный подол. И тут подвалила какая-то жаба, — не из персонала, а тоже любитель прекрасного, — вся как лиловое желе, затрясла камнями: да как вы смэ-э-ете! в Большом теа-тре! скоблить свои поганые но-оги! да вы не в ба-ане! — и понесла, и понесла, и люди стали оборачиваться, перешептываться, и, не разобравшись, сурово глядеть.

И уже все было испорчено, погибло и пропало, и Гале уж было не до высокого волнения, и маленькие лебеди попусту наяривали медленной рысью прославленный свой танец, — вскипая злыми слезами, терзаясь неотмщенной обидой, Галя без всяких восторгов давила танцовщиц взглядом, различая в бинокль их желтоватые трудовые лица, рабочие шейные жилы, и сурово, безжалостно твердила себе, что никакие они не лебеди, а члены профсоюза, что все у них как у простых людей — и вросшие ногти, и неверные мужья, что вот сейчас отпляшут они сколько велено, натянут теплые рейтузы. — и по домам, по домам: в ледяное Зюзино, в жидкое Коровино, а то и на самую страшную окружную дорогу, где по

ночам молча воеет Галя, в ту непролазную жуть, где бы только хищной нелюди рыскать да каркать воронью. И вот пусть-ка такая вот белая беспечная трепетуныя, вон хоть та, проделает ежедневный Галин путь, пусть провалится по брюхо в мучительную глину, в вязкий докембрий окраин, да повернется, выкарабкиваясь — вот это будет фуэтэ!

Да разве расскажешь!

В марте он их не позвал, и в апреле не позвал, и лето прошло впустую, и Галя изнервничалась: что случилось? надоели? недостойны? Устала мечтать, устала ждать телефонного звонка, стала забывать дорогие черты: теперь он представлялся ей гигантом, ифритом, с пугающе черным взглядом, огромными, искрящимися от перстней руками, с металлическим шорохом сухой восточной бороды.

И она не сразу узнала его, когда он прошел мимо нее в метро — маленький, торопливый, озабоченный, — миновал ее, не заметив, и идет себе, и уже не окликнуть!

Он идет, как обычный человек, маленькие ноги его, привыкшие к воцелым паркетам, избалованные бархатными тапками, ступают по зашарканному банному кафелю перехода, избегают на объединенные ступени; маленькие кулачки шарят в карманах, нашли носовой платок, пнули — буф, буф! — по носу — и снова в карман; вот он встряхнулся как собака, поправил шарф — и дальше, под арку с чахлой золотой мозаикой, мимо статуи партизанского патриарха, недоуменно растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев.

Он идет сквозь толпу, и толпа, то стущаясь, то редея, шуршит, толкаясь ему навстречу, — веселая тучная дама, янтарный индус в белоснежных мусульманских кальсонах, воин с чирьями, горные старухи в калошах, оглушенные суетой.

Он идет, не оглядываясь, нет ему дела до Гали, до ее жадных глаз, вытянутой шеи, — вот подпрыгнул как

школьник, скользнул на эскалатор — и прочь, и скрылся, и нет его, только теплый резиновый ветер от набежавшего поезда, шип и стук дверей и говор толпы, как говор вод многих.

И в тот же вечер позвонила Аллочка и с возмущением рассказала, что они с Филиным ходили подавать заявление в загс и там, заполняя документы, она обнаружила, что он — самозванец, что квартиру в высотном доме он снимает у какого-то полярника, и все вещички-то скорее всего не его, а полярниковы, а сам он прописан в городе Домодедово! И что она гордо швырнула ему документы и ушла, не из-за Домодедова, конечно, а потому, что выходить замуж за человека, который вот хоть настолечко соврал, ей не позволяет гордость. И чтобы они тоже знали, с кем имеют дело.

Вот оно как... А они-то с ним знали! Да он ничем не лучше их, он такой же, он просто притворялся, мимикрировал, жалкий карлик, клоун в халате падишаха! Да они с Юрой в тыщу раз честнее! Но он хоть понимает теперь, что виноват, разоблачен, попался?

Даже с площадки было слышно, что у кого-то сварена рыба. Галя позвонила, Филин открыл и изумился. Он был один и выглядел плохо, хуже Джульки. Все ему высказать! Что церемониться? Он был один, и нагло ел треску под музыку Брамса, и на стол перед собой поставил вазу с белыми гвоздиками.

— Галочка, вот сюрприз! Не забыли... Прошу — судак орли, свежий. — Филин подвинул треску.

— Все знаю, — сказала Галя и села, как была, в пальто. — Алиса мне все сказала.

— Да, Алиса, Алиса, коварная женщина! Ну, рыбки?

— Нет, спасибо! И про Домодедово я знаю. И про полярника.

— Да, ужасная история, — огорчился Филин. — Три года просидел человек в Антарктиде, и еще бы сидел — это романтично — и вдруг такая беда. Но Илизаров поможет, я верю. У нас это делают.

— Что делают? — опешила Галя.

— Уши. Вы не знаете? Полярник-то мой уши отморозил. Сибиряк, широкая натура, справляли они там Восьмое марта с норвежцами, одному норвежцу его ушанка понравилась, он возьми да и поменяйся с ним. На кепку. А на улице мороз восемьдесят градусов, а в помещении плюс двадцать. Сто градусов перепад температуры — мыслимо ли? С улицы его зовут: «Леха!» — он голову наружу высунул, уши — раз! — и отвалились. Ну, конечно, паника, вlepили ему строгача, уши — в коробку и сейчас же самолетом в Курган, к Илизарову. Так что вот... Уезжаю.

Галя тщетно искала слова. Что-нибудь побольнее.

— И вообще, — вздохнул Филин. — Осень. Грустно. Все меня бросили. Алиса бросила... Матвей Матвееч носу не кажет... Может, умер? Одна вы, Галочка... Одна вы могли бы, если б захотели. Ну теперь я к вам поближе буду. Теперь поближе. Покушайте судачка. «Айнмаль ин дер вохе — фиш!» Что значит: раз в неделю — рыба! Кто сказал? Ну, кто из великих сказал?

— Гёте? — пробормотала Галя, невольно смягчаясь.

— Близко. Близко, но не совсем. — Филин оживился, помолодел. — Забываем историю литературы, ай-яй-яй... Напомню: когда Гёте — тут вы правы — глубоким стариком полюбил молодую, преле-естную Ульрику и имел неосторожность посвататься, — ему было грубо отказано. С порога. Вернее — из окна. Прелестница высунулась в форточку и облаяла олимпийца — ну, вы же это знаете, не можете не знать. Старый, мол, а туда же. Фауст выискался. Рыбы больше есть надо — в ней фосфор, чтобы голова варила. Айнмаль ин дер вохе — фиш! И форточку захлопнула.

— Да нет! — сказала Галя. — Ну зачем... Я же читала...

— Все мы что-нибудь читали, дорогая, — расцвел Филин. — А я вам привожу голые факты. — Он уселся поудобнее, возвел глаза к потолку. — Ну, бредет старик

домой, совершенно разбитый. Как говорится, прощай, Антонина Петровна, неспетая песня моя!.. Сгорбился, звезда на шее — бряк-бряк, бряк-бряк... А тут вечер, ужин. Подали дичь с горошком. Он дичь сильно уважал, с этим-то, надеюсь, вы спорить не будете? Свечи горят, на столе серебро, конечно, такое немецкое, — знаете, с шишками, — аромат... Так — дети сидят, так — внуки. В уголку секретарь его, Эккерман, примостился, строчит. Гёте крылышко поковырял — бросил. Не идет кусок. Горошек уж тем более. Внуки ему: деда, ты чего? Он так это встал, стулом шурнул и с горечью: раз в неделю, говорит, рыба! Заплакал и вышел. Немцы, они сентиментальные. Эккерман, конечно, тут же все это занес в свой кондуит. Вы почитайте, если не успели: «Разговоры с Гёте». Поучительная книга. Кстати, эту дичь — абсолютно уже окаменевшую, — до тридцать второго года показывали в Веймаре, в музее.

— А горошек куда же дели? — свирепея, спросила Галя.

— Коту скормили.

— С каких это пор кот ест овощи?!

— У немцев попробуй не съешь. У них дисциплинка!

— Что, про кота тоже Эккерман пишет?..

— Да, это есть в примечаниях. Смотря, конечно, какое издание?

Галя встала, вышла прочь, вниз и на улицу. Прощай, розовый дворец, прощай, мечта! Лети на все четыре стороны, Филин! Мы стояли с протянутой рукой — перед кем? Чем ты нас одарил? Твое дерево с золотыми плодами засохло, и речи твои — лишь фейерверк в ночи, минутный бег цветного ветра, истерика огненных роз во тьме над нашими волосами.

Темнело. Осенний ветер играл бумажками, черпал из ури. Она заглянула напоследок в магазин, что подточил, как прозрачный червь, ногу дворца. Постояла у невеселых прилавков — говяжьей кости, пюре «Рассвет». Что ж, сотрем пальцем слезы, размажем по ще-

кам, заплюем лампы: и бог наш мертв, и храм его пуст. Прощай!

А теперь — домой. Путь не близкий. Впереди — новая зима, новые надежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие дома, долги вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурые травы, холод земляных пластов под боязливой ногой, воспоем медленную осеннюю зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хрупкую золотую паутину и первый лед, первый синеватый лед в глубоком отпечатке чужого следа.

ПЕТЕРС

У Петерса с детства были плоские ступни и по-женски просторный живот. Покойная бабушка, любя его и таким, обучала его хорошим манерам — все-все-все прожевывать, заправлять салфетку за воротник, помалкивать, когда говорят старшие. Так что он всегда нравился бабушкиным подружкам. Когда она брала его с собой в гости, можно было спокойно дать ему в руки ценную книжку с картинками — не порвет, и за столом он никогда не выщипывал бахрому из скатерти и не крошил печеньем — чудный был мальчик. Нравилось и то, как он входил — степенно одергивал бархатную курточку, поправлял бант или кружевной индюшачий галстучек, пожелтевший не меньше бабушкиных щек, и, шаркнув толстой ножкой, представлялся старухам: «Петер-с!» Он замечал, что это смешило и умиляло.

— Ах, Петруша, детка! Вы что его, Петером зовете?

— Да... так... Мы сейчас просто учим его немецкому, — небрежно начала бабушка. И, отражаясь в тусклых зеркалах, Петерс чинно шел по коридору, мимо старых сундуков, мимо старых запахов, в комнаты, где по углам сидели тряпичные куклы, где на столе под зеленым колпаком спал зеленый сыр и ванилью веяло домашнее печенье. Пока хозяйка раскладывала маленькие, съеденные с одного боку серебряные ложечки, Петерс бродил по комнате, рассматривал кукол на комод, портрет строгого, оскорбленного старика с усами как длинная спица, виньетки на обоях, или подходил к окну и глядел сквозь заросли алоэ туда, на солнечный мороз, где летали сизые голуби и съезжали с накатанных горок румяные дети. Гулять его не пускали.

Глупое прозвище — Петерс — так к нему на всю жизнь и прилипло.

Мамаша Петерса — бабушкина дочь — сбежала в теплые края с негодяем, папаша проводил время

с женщицами легкого поведения и сыном не интересовался; слушая разговоры взрослых, Петерс представлял себе негодяя — негром под банановой пальмой, папашиних женщиц — голубыми и воздушными, легкими, как весенние облачка, но, хорошо воспитанный бабушкой, помалкивал. Кроме бабушки, у него еще был дедушка; сначала он тихо лежал в углу на кресле, молчал и следил за Петерсом блестящими стеклянными глазами, потом его положили в столовой на стол, подержали так дня два и куда-то унесли. В этот день ели рисовую кашу.

Бабушка обещала Петерсу, что если он будет вести себя хорошо, то, когда вырастет, жить он будет замечательно. Петерс помалкивал. Вечером, взяв в постель плюшевого зайца, он рассказывал ему про свою будущую жизнь — как он будет гулять когда захочет, дружить со всеми детьми, как приедут к нему в гости мама с негодяем и привезут сладких фруктов, как папины легкие женщины будут летать с ним по воздуху наяву, словно во сне. Заяц верил.

Бабушка кое-как учила Петерса немецкому языку. Они играли в старинную игру «Черный Петер» — вытягивали друг у друга карты с картинками, складывали парами — гусь и гусыня, петух и курица, собаки с надменными мордами. Только коту, Черному Петеру, не доставалось пары, он всегда был один — мрачный, нахохлившийся, и тот, кто к концу игры вытягивал Черного Петера, проигрывал и сидел как дурак.

Еще были крашенные открытки с надписями: Висбаден, Карлсруэ, были прозрачные вставочки без перьев, но с окошечком: если поглядеть в окошечко, увидишь кого-то далекого, маленького, конного. Еще пели с бабушкой: «О танненбаум, о танненбаум!» Все это был немецкий язык.

Когда Петерсу исполнилось шесть лет, бабушка взяла его в гости на елку. Дети там были проверенные, без заразы. Петерс шел по снегу так быстро, как мог, бабушка за ним еле поспевала. Горло у него было туго

стянуто белым шарфом, глаза блестели в темноте как у кота. Он спешил дружить. Начинаясь прекрасная жизнь. В большой жаркой квартире пахло хвоей, сверкали игрушки и звезды, бегали чужие мамы с пирогами и кренделями, визжали и носились быстрые ловкие дети. Петерс встал посреди комнаты и ждал, когда начнут дружить. «Догоняй, пузан!» — крикнули ему. Петерс побежал куда-то наугад и остановился. На него налетели, он упал и поднялся, как ванька-встанька. Жесткие взрослые руки отодвинули его к стене. Там он простоял до чая.

За чаем все дети, кроме Петерса, плохо себя вели. Он съел свою порцию, вытер рот и ждал событий, но событий не было. Только одна девочка, черная, как жучок, спросила его, есть ли у него бородавки, и показала ему свои.

Петерс сразу полюбил девочку с бородавками и стал ходить за ней по пятам. Он предложил ей посидеть на диване, и чтобы другие к ней не подходили. Но ни двигать ушами, ни свертывать язык трубочкой, как она предлагала, он не умел и быстро наскучил ей, и она его бросила. Потом он не знал, что надо делать. Потом ему захотелось кружиться на одном месте и громко кричать, и он кружился и кричал, и вот уже бабушка тащила его домой по синим сугробам и возмущенно говорила, что она его не узнаёт, что он вспотел и что никогда больше в гости к детям они не пойдут. И действительно, больше они никогда там не были.

До пятнадцати лет Петерс гулял с бабушкой за ручку. Сначала она поддерживала его, потом наоборот. Дома играли в домино, раскладывали пасьянсы. Петерс выпивал лобзиком. Учился он неважно. Перед тем как умереть, бабушка устроила Петерса в библиотечный техникум и завещала беречь горло и тщательно мыть руки.

В день, когда ее похоронили, по Неве прошел лед.

В библиотеке, где служил Петерс, женщины были интересные. А ему нравились интересные. Но что он мог предложить таковым, буде они встретятся? Розовый живот и маленькие глазки? Хоть бы в разговоре он блистал, хоть бы немецкий, что ли, знал прилично, так нет же, кроме «Карлсруэ», почти ничего с детства не запомнилось. А так представить себе — вот он заводит роман с роскошной женщиной. Пока она там то да се, он читает ей вслух Шиллера. В оригинале. Или Гельдерлина. Она ничего, конечно, не понимает и понимать не может, но неважно; важно, как он читает — вдохновенно, с переливами в голосе... Близко подносит книгу к близоруким глазам... Нет, он, конечно, закажет себе контактные линзы. Хотя, говорят, они жмут. Вот он читает. «Оставьте же книгу», — говорит она. И лобзания, и слезы, и заря, заря... А линзы жмут. Он будет моргать, и жмуриться, и лазать пальцами в глаза... Она подождет-подождет и скажет: «Да отковыряйте же вы эти стекляшки, гос-споди!» Встанет и дверь хлопнет.

Нет. Лучше так. Милая, тихая блондинка. Она склонила головку к нему на плечо. Он читает вслух Гельдерлина. Можно Шиллера. Темные дубравы, ундины... Читает, читает, уже язык пересох. Она зевнет и скажет: «Гос-споди, сколько можно эту скучищу слушать!»

Нет, тоже не годится.

А если без немецкого? А без немецкого, допустим, так: изумительная женщина — как леопард. И он сам как тигр. Какие-то страусовые перья, гибкий силуэт на диване... (Сменить обивку.) Силуэт, стало быть. Падают диванные подушки. И заря, заря... И может быть, даже женюсь. А что? Петерс смотрел в зеркало на свое отражение, на толстый нос, перевернутые от страсти глаза, мягкие плоские ступни. Ну и что такого? Немного похож на белого медведя, женщинам это должно нравиться и приятно пугать. Петерс дул на себя в зеркало, чтобы остыть. Но ни знакомства, ни адюльтеры не клеились.

Петерс пробовал ходить на танцы, топтался, тяжело

дыша, и отдавливал девушкам погни; подходил к смеющимся и болтающим, и, заложив руки за спину, склонив голову набок, слушал разговоры. Вечерело, август дул прохладой из жестких кустов, сеял красную пыль последних лучей на черную зелень, на дорожки парка; зажигались огни в ларьках и киосках с вином и мясом, Петерс строго проходил мимо, придерживая кошелек, и, не выдержав накотившего голода, покупал полдюжины пирожных, отходил в сторонку и в уже наступившей темноте торопливо поедал их с поблескивавшей металлической тарелочки. Когда он выходил из тьмы, моргая, облизываясь, с белым кремом на подбородке, и, набравшись решимости, подходил и знакомился — напролом, наугад, ничего не разбирая от страха, шаркая плоской ногой, — женщины шарахались, мужчины думали бить, но, приглядевшись, раздумывали.

Никто с ним играть не хотел.

Дома Петерс крутил для себя гоголь-моголь, мыл и вытирал стакан, потом аккуратно ставил тапочки на ночной коврик, ложился в постель, вытягивал руки поверх одеяла и лежал, глядя в сумрачный пульсрующийся потолок, неподвижно, пока не приходил за ним сон.

Сон приходил, приглашал в свои лазы и коридоры, назначал встречи на потайных лестницах, запирали двери и перестраивал знакомые дома, пугая чуланами, бабами, чумными бубонами, черными бубнами, быстро вел по темным переходам и вталкивал в душную комнату, где за столом, лохматый и усмехающийся, сидел, кругя пальцами, знаток многих пехороших вещей.

Петерс бился в простынях, просил прощения, и, прощенный на этот раз, вновь погружался на дно до утра, путаясь в отражениях кривых зеркал волшебного театра.

Когда в библиотеке появилась новая сотрудница, темная и душистая, в платье цвета брусники, Петерс взволновался. Он доплел до парикмахерской, коротко под-

стриг бесцветные свои волосы, зачем-то лишний раз подмел у себя в квартире, поменял местами комод и кресло. Не то чтобы он рассчитывал, что Фаина так сразу придет к нему в гости, но, во всяком случае, Петерс должен был быть готов.

На работе праздновали Новый год, Петерс суетился, вырезал бумажные снежинки размером с блюдце и наклеивал их на библиотечные окна, развешивал розовую мишуру, путался в металлическом дожде, путался в мечтах и желаниях, маленькие елочные лампочки отражались в его перевернутых глазах, пахло хвоей и хреном, в открытую форточку наметало снежную крупку. Он размышлял: если у нее есть, допустим, жених, — подойти к нему, тихо взять за руку и по-человечески, по-хорошему попросить: оставьте Фаину, оставьте ее мне, что вам стоит, вы себе еще кого-нибудь найдете, вы это умеете. А я не умею, моя мама убежала с негодяем, папа плавает в небе с голубыми женщинами, бабушка съела дедушку с рисовой кашей, съела мое детство, мое единственное детство, и девочки с бородавками не хотят сидеть со мной на диване. Ну дайте мне хоть что-нибудь, а?

Горящие свечи стояли, напоенные по грудь прозрачным яблочным светом, обещанием добра и покоя, розовое, желтое пламя качало головой, сияли глаза, шипело шампанское, Фаина пела под гитару, портрет Достоевского на стене отводил глаза; потом гадали, раскрывая Пушкина наугад. Петерсу досталось: «Люби, Адель, мою свирель» — над ним посмеялись, просили познакомить с Аделью; потом про него забыли, шумя о своем, и он тихо сидел в уголке, хрустя тортом, прикидывая, как он будет провожать Фаину до дому. Стали расходиться, он бросился за ней в раздевалку, держа шубу на вытянутых руках, смотрел, как она переобувалась, как совала ногу в цветном чулке в уютный меховой сапожок, как обматывалась белым платком и рывком вздевала на плечо сумку — все его волновало. Хлопнула дверь, и только он ее и видел — махнула варежкой, вскочила в троллей-

бус и скрылась в белой метели. Но и это было как обещание.

В ушах его били торжественные колокола, и глаза прозревали доселе невидимое. Все дороги вели к Фаине, все ветры трубили ей славу, выкрикивали ее темное имя, неслись над крутыми грифельными крышами, над башнями и шпилями, змеились снежными жгутами и бросались к ее ногам, и весь город, все острова — воды и набережные, статуи и сады, мосты и решетки, чугунные розы и лошади — все сливалось в кольцо, сплетая для возлюбленной гремящий зимний венок.

Ему никак не удавалось остаться с ней наедине, и он ловил ее на улице, но она всегда пронеслась мимо него ветром, мячиком, снежком, пущенным ловкой рукой. И ужасен, невозможен, как больной зуб, был ее приятель, заглядывающий вечерами в библиотеку — разбитной журналист, весь в скрипящей коже, длинноногий, длинноволосый, рассказывавший международные анекдоты о том, как русский, немец и поляк измеряли толщину своих женщин и как русский вышел победителем. Журналист написал в газету заметку, где врал, что, мол, «всегда особенно людно у стендов с книгами по свекловодству» и что, дескать, «лоцманом книжного моря называют библиотекаря Фаину А. посетители». Фаина смеялась, довольная, что попала в газету, Петерс мучился и молчал. И все набирался духу, чтобы наконец взять ее за руку, отвести к себе домой и после сеанса страсти обговорить дальнейшую совместную жизнь.

На исходе зимы сырым чахоточным вечером Петерс сушил руки в мужском клозете под горячей струей механической сушилки и подслушивал, как Фаина в коридоре разговаривает по телефону. Сушилка содрогнулась и замолчала, и в наступившей тишине отчетливо засмеялся любимый голос: «Не-ет, у нас в коллективе одни женщины... Кто? Этот-то?.. Да это не мужчина, а дюдя. Дундук какой-то эндокринологический».

Люби, Адель, мою свирель. Петерсу стало внутри так,

будто его задавило трамваем. Он обвел глазами жалкий пожелтевший кафель, старое зеркало, вспухшее изнутри серебряными нарывами, капающий ржавчиной кран — жизнь правильно выбрала место для последнего унижения. Он тщательно обмотал горло шарфом, чтобы не простудить гланды, добрал до дому и, нашарив тапочки, подошел к окну, в которое задумал выпасть, и подергал створки. Окно было хорошо заклеено на зиму, он сам заклеивал, и жалко было своего труда. Тогда он включил духовку, положил голову на противень с холодными хлебными крошками и полежал. Кто-то будет есть рисовую кашу в память о нем? Потом Петерс вспомнил, что газа нет с утра, что на линии авария, рассвирепел, набрал дрожащим пальцем номер диспетчерской, страшно и бессвязно накричал о безобразиях в коммунальном обслуживании, сел в дедушкино кресло и просидел до утра.

Утром за окном шел крупный медленный снег. Петерс глядел на снег, на притихшее небо, на новые сугробы и тихо радовался, что молодости у него больше не будет.

Но пришла, проходными дворами, новая весна, умерли снега, сладкой гнилью повеяло от земли, синяя рябь побежала по лужам, и дикие ленинградские вишни снова осыпали белый цвет на спичечные парусники, на газетные кораблики, — и не все ли равно, в канаве ли, в океане ли начинать новое плавание, если весна зовет, если ветер повсюду один? И чудесными были новые галоши, купленные Петерсом, — мякотью цветущей фуксии было выстлано их нутро, лаком сияла тугая резина, обещавшая цепью вафельных овалов отметить земные пути его, куда бы он ни проложил их в поисках счастья. И он неспешно, заложив руки за спину, гулял по каменным улицам, глубоко заглядывал в желтые подворотни, нюхал воздух каналов и рек, и вечерние, субботние женщины поглядывали на него длинными, ничего хорошего не

обещавшими взглядами, думая: вот большой какой-то, он нам не нужен.

Но они ему тоже не были нужны, а загляделся он на Валентину, маленькую, безбожно молодую, — она покупала весенние открытки на солнечной набережной, и счастливый ветер, налетая порывами, строил, менял, строил прически на ее черной стриженной голове. Петерс пошел за Валентиной по пятам, не рискуя слишком приблизиться, трепеща неудачи. Спортивные юноши подбежали к прекрасной, подхватили, смеясь, и она ушла за ними вприпрыжку, и Петерс видел, как были куплены и подарены прыгунье фиалки — темные, лиловые, — слышал, как называли ее имя, — оно оторвалось и улетело с ветром, смеющиеся скрылись за углом, и Петерс остался ни с чем — грузный, белый, никем не любимый. Ну а что бы он мог ей сказать — ей, такой молодой, такой с фиалками? Подойти на ватных ногах, протянуть ватную ладонь: «Петер-с...» («Какое странное имя...» — «Так меня бабушка...» — «Почему бабушка...» — «Немножко немецкий...» — «Вы знаете немецкий?...» — «Нет, но бабушка...»)

Ах, если бы он выучил в свое время немецкий! О, тогда бы, наверное... Тогда бы, конечно... Такой трудный язык, он шипит, цокает и шевелится во рту, о танненбаум, его, должно быть, никто и не знает... А вот Петерс возьмет и выучит и поразит прекрасную...

Пугаясь милиционеров, он расклеил на столбах объявления: «Желаю знать немецкий». Они провисели все лето, выгорая, шевеля ложноножками. Петерс навещал родные столбы, подправлял размытые дождями буквы, подклеивал оторвавшиеся уголки, а глубокой осенью ему позвонили, и это было как чудо — из моря людей всплыли двое, отозвались на его тихий, слабый, косым лиловым по белому призыв. Эй, ты звал? Звал, звал! Напористого и басовитого он отверг, и тот снова растворился в небытии, а дребезжащую даму, Елизавету Францевну с Васильевского острова, обстоятельно расспросил: как

ехать, и куда, и почему, и нет ли собаки, а то он собаки боится.

Все было обговорено, Елизавета Францевна ждала его вечером, и Петерс пошел на облюбованный угол сторожить Валентину — он выследил, он знал — она пройдет, как всегда, помахивая спортивной сумкой, без двадцати четыре, и впрхнет в большое красное здание, и будет прыгать там на батуте, среди таких же, как она, быстрых и молодых. Она пройдет, не подозревая, что есть на свете Петерс, что он задумал великое дело, что жизнь прекрасна. Он решил, что лучше всего будет купить букет, большой желтый букет, и молча, именно молча, но с поклоном протянуть его Валентине на знакомом углу. «Что это? Ах!..» — в таком духе.

Дуло, крутило и лило, когда он вышел на набережную. За пеленой дождя мутно лежал красный барьер отсыревшей крепости, оловянный ее шпиль мутно поднимал восклицательный палец. Лило с вечера, и запасов воды у них там, наверху, заготовлено было щедро, похозяйски. Шведы, ушедшие с этих гнилых берегов, забыли забрать с собой небо, и теперь небось злорадствовали на своем чистеньком полуострове — у них-то голубой ясный морозец, черные ели да белые зайцы, а Петерсу кашлять здесь среди гранитов и плесени.

Осенью Петерс с удовольствием ненавидел родной город, и город платил ему тем же: плевал с гремящих крыш ледяными ручьями, заливал глаза беспросветным темным потоком, подсовывал под ноги особенно сырые и глубокие лужи, хлестал дождевыми оплеухами по близорукому лицу, по фетровой шляпе, по пузечку. Осклизлые дома, натыкавшиеся на Петерса, нарочно покрывались тонкими, бисерно-белыми грибами, мшистым ядовитым бархатцем, и ветер, прилетевший с больших разбойничьих дорог, путался в его промокших ногах смертельными туберкулезными восьмерками.

Он встал на посту с букетом, а октябрь все рушился с небес, и галоши были как ванны, и оползла ключьями

газета, трижды обернутая вокруг дорогих желтых цветов, и время пришло и миновало, а Валентина не пришла и не придет, а он все стоял, продрогший насквозь, до белья, до белого безволосого тела, усеянного нежными красивыми родинками.

Пробило четыре. Петерс сунул свой букет в урну. Чего ждать? Он уже понял, что учить немецкий глупо и поздно, что прекрасная Валентина, вскормленная среди спортивных, пружинистых юношей, лишь посмеется и переступит через него, грузного, широкого в поясе, что не для него на этом свете пылкие страсти и легкие шаги, быстрые танцы и прыжки на батуте, и небрежно купленные сырые апрельские фиалки, и солнечный ветер с серых невских вод, и смех, и юность, что все попытки напрасны, что надо было ему в свое время жениться на собственной бабушке и тихо тлеть в теплой комнате под тиканье часов, кушая сахарную булочку и посадив перед своей тарелкой — для уюта и забавы — старого плюшевого зайку.

Захотелось есть, и он побрел наугад на приветный огонек забегаловки, купил супу и пристроился рядом с двумя красавицами, евшими пирожки с луком и отдувавшими туманную пленку с остывающего розового какао.

Девушки щебетали, конечно, о любви, и Петерс прослушал историю некой Ирочки, которая долго кадрила одного товарища из братского Йемена, а может, Кувейта, в расчете, что он женится. Ирочка слыхала, что у них там, в песчаных степях аравийской земли, нефти — как клюквы, что каждый приличный мужик — миллионер и летает на собственном самолете с золотым стульчаком. Вот этот золотой стульчак сводил с ума Ирочку, выросшую в Ярославской области, где удобства — три стены без четвертой с видом на гороховое поле, в общем, «какой простор», картина И. Е. Репина. Но араб жениться не чесался, а когда Ирочка поставила вопрос ребром, выразился в том духе, что «Ага?! А по ха не хо? Привет

тете!», и так далее, и выставил Ирочку со всеми ее убогими шмотками вон. Петерса девушки не замечали, а он слушал, и жалел неизвестную Ирочку, и воображал себе то гороховые ярославские просторы, опущенные по горизонту темными волчьими лесами, тающими в блаженной тишине под голубым блеском северного солнца, то сухой угрюмый посвист миллионов песчинок, тугой напор пустынного урагана, коричневое светило сквозь стремительный мрак, забытые белые дворцы, занесенные смертной пылью или заколдованные давно умершими колдунами.

Девушки перешли к рассказу о сложных отношениях Оли и Валерия, о бессовестности Анюты, и Петерс, пивший бульон, развесил уши и невидимкой вошел в чужой рассказ, он близко коснулся чьих-то тайн, он стоял у самых дверей затаив дыхание, он чувал, обонял и осязал, как в волшебном кино, и нестерпимо доступны — руку протяни — были мелькание каких-то лиц, слезы на обиженных глазах, вспышки улыбок, солнце в волосах, стреляющее розовыми и зелеными искрами, пыль в луче и жар нагретого паркета, поскрипывающего рядом, в этой чужой, счастливой и живой жизни.

— Доели — пошли! — скомандовала одна красавица другой, и, расправив прозрачные зонтики, как знаки иного, высшего существования, они выплыли в дождь и поднялись в небеса, в заоблачную, скрытую от глаз лазурь.

Петерс выбрал шершавую картонку из пластмассового стакана, вытер рот. Жизнь прошумела, обогнула его и унеслась, как огибает стремительный поток тяжелую, лежащую грудку камней.

Уборщица прошлась самумом по столикам, махнула грязной Петерсу в лицо, ловким движением подхватила двадцать грязных тарелок и растворилась в сдобном воздухе.

— А я не виноват, — сказал кому-то Петерс. — Ни в чем решительно не виноват. Я тоже хочу участвовать. А меня не берут. Никто со мной играть не хочет. А за что? Но я напрягусь, я победю!

Он вышел прочь — под ледяные брызги, под морозную хлещущую воду. Победу. Побежду. Побежу. Стиснул зубы и пошёл напролом. И выучу, выучу этот проклятый язык. Там, на Васильевском острове, в самой сырой ленинградской сыри, ждёт, плавает тюленем или ундиной Елизавета Францевна, легко бормочущая на сумрачном германском наречии. Он придет, и они залопочут вместе. О танненбаум! О, повторяю, танненбаум! Как там дальше-то?.. Приду — узнаю.

Что ж, прощай, Валентина и ее быстрые сестры, впереди лишь немецкая старуха — взялся за гуж... Петерс представил себе свой путь, петлистый след в мокром городе, и неудачу, бегущую по следу, приплюсывающуюся к вафельным отпечаткам подошв, и старуху в конце пути, и, чтобы сбить с толку судьбу, кликнул такси и поплыл сквозь дождь, — пар шел от его ног, шофер был мрачен, и хотелось сразу же выйти. Така-така-така-така, — стрекотали денежки.

— Здесь остановите.

Швейцар сторожил вход в значное место — дверь в полуподвал, и за дверью глухо грохочет музыка, и лампы сияют из окон, как длинные трубки с ядовитым сиропом. Перед дверью клацали зубами в вихрях дождя юноши — все претенденты на Валентину руку, — прощай, Валентина, — мест не было, но швейцар, обманувшись солидностью Петерса, пустил, и Петерс прошел, и с его боков прошмыгнули еще двое. Хорошее место. Петерс с достоинством снял шляпу и плащ, взглядом пообещал чаевые, шагнул в гремящий зал и протрубил в носовой платок о своем приходе. Хорошее место! Выбрал себе коктейль порозовее, пирожное-пагоду, выпил, куснул, еще выпил и расслабился. Хорошее, хорошее место. И под локтем его возникла, завязалась откуда-то из воздуха, из цветного сигаретного дыма девочка-мотылек; красное, зеленое платье — огни мигали — расцветало на ней орхидеей, и ресницы мигали как крылья, и на тоненьких лапках звенели браслеты, и вся она была пре-

дана Петерсу до последнего вздоха. Он махнул, чтобы дали еще розового спирта, боясь заговорить, спугнуть девочку, чудную пери, летучий цветок, и они посидели молча, удивляясь друг другу, как удивились бы, встретившись, козел и ангел.

Он опять махнул рукой — и дали даже еще и мяса.

— Кхэм, — сказал Петерс, моля небеса, чтобы они не сразу отозвали своего посланца. — Вот у меня в детстве был плюшевый заяц — фактически друг, и столько я ему всего наобещал! А сейчас иду на немецкий урок, кхэм.

— Я люблю плюшевых зайцев, они смешные-смешные, — холодно заметила пери.

Петерс подивился ангельской глупости — заяц не может быть смешным, он или друг, или ничтожество, мешочек с опилками.

— А еще мы играли в карты, и мне всегда доставался кот, — вспомнил Петерс.

— Кот тоже смешной-смешной, — сквозь зубы, как хорошо знакомый урок, повторила девочка, водя глазами по залу.

— Да нет! Ну почему? — возразил Петерс, горячась. — И дело же не в этом! Я не о том, я о жизни, а она все дразнит, показывает и отбирает, показывает и отбирает. И знаете, это как витрина — блестит, и заперто, и взять ничего нельзя. А, спрашивается, почему?

— Вы тоже смешной-смешной, — упорствовала, не слушая, равнодушная девочка. — У вас чего-то на пол упало.

Когда он наконец выбрался из-под стола, ангел уже вознесся, а с ним и Петерсов кошелек с деньгами. Понятно. Ну что ж. Иначе и быть не могло. Петерс сидел над обедками, неподвижный, как чемодан, трезвел, представляя себе, как он будет объясняться, просить, — презрение и усмешка гардеробщика, — вылавливать сырые рубли из болотистых карманов плаща, вытрясать мелочь, рыбкой скользнувшую за подкладку... Музыкаль-



ые машины топали, били в барабаны, возвещая о чьей-то наступившей страсти. Коктейль испарялся из ушей. Ку-ку! Вот так.

Что же ты такое, жизнь? Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика? Или дар безответной любви — это и все, что мне предназначено? А счастье-то? Какое такое счастье? Неблагодарный, ты жив, ты плачешь, любишь, рвешься и падаешь, и тебе этого мало? Как?.. Мало?! Ах, так, да? А больше ничего и нет.

...— Жду! Жду! — кричала Елизавета Францевна, быстрая завитая бабулька, откидывая крюки и запоры, впуская ограбленного Петерса, темного, опасного, полного бедой по горло, по верхнюю тугую пуговицу.

— Вот сюда! Сразу и начнем! Присаживайтесь на диванчик. Сначала лото, потом чайку. Так? Быстренько берите карту. У кого коза? У меня коза. У кого цесарка?

Сейчас убью ее, — решил Петерс. Елизавета Францевна, отведите глаза, сейчас буду вас убивать. Вас, и покойную бабушку, и девочку с бородавками, и Валентину, и фальшивого ангела, и сколько их там еще, — всех, кто обещал и обманул, заманил и бросил; убью от имени всех тучных и одышливых, косноязычных и бестолковых, от имени всех, запертых в темном чулане, всех, не взятых на праздник, приготовьтесь, Елизавета Францевна, сейчас буду душить вас вон той вышитой подушкой. И никто не узнает.

— Францевна-а! — бухнули кулаком в дверь. — Давай три рубля, коридор за тебя вымою!

Порыв прошел. Петерс отложил подушку. Захотелось спать. Старушка шуршала деньгами, Петерс опустил глаза в карту «Домашние животные».

— Вы что задумались? У кого кот?

— У меня кот, — сказал Петерс. — У кого же еще? — И вышел боком, стиснув картонного кота в кулаке. К черту жизнь. Спать, спать, заснуть и не просыпаться.

Приходила весна, и уходила весна, и снова приходила, и расстилала голубые цветы по лугам, и махала рукой, и звала сквозь сон: «Петерс! Петерс!» — но он крепко спал и ничего не слышал.

Шуршало лето, вольно шаталось по садам — садилось на скамейки, болтало босыми ногами в пыли, вызывало Петерса на нагретые улицы, на теплые мостовые; шептало, сверкало в плеске лип, в трепете тополей; звало, не дозволялось и ушло, волоча подол, в светлую сторону горизонта.

Жизнь вставала на дыпочки, удивленно заглядывала в окно: почему Петерс спит, почему не выходит играть с ней в ее жестокие игры?

Но Петерс спал и спал, и жил сквозь сон; аккуратно вытирая рот, ел овощное и пил молочное; брил тусклое лицо — вокруг сомкнутого рта и под спящими глазами, — и как-то, нечаянно, мимоходом, женился на холодной твердой женщине с большими ногами, с глухим именем. Женщина строго глядела на людей, зная, что люди — мошенники, что верить никому нельзя; из кошелки ее пахло черствым хлебом.

Она всюду водила за собой Петерса, крепко стиснув его руку, как некогда бабушка, по воскресеньям они отправлялись в зоологический музей, в гулкие, вежливые залы — смотреть остывших шерстяных мышей, белые кости кита; в будни они входили в магазины, покупали мертвую желтую вермишель, старческое коричневое мыло, и глядели, как льется через узкое жерло воронки постное тяжелое масло, густое, как тоска, бесконечное и вязкое, как пески аравийских пустынь.

— Скажите, — строго спрашивала женщина, — дыпята что — охлажденные? Вон того дайте. — И «вон тот» ложился в затхлую сумку, и спящий Петерс нес домой холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли, — ни зеленой муравы, ни веселого круглого глаза подруги. И дома, под внимательным взглядом твердой женщины, Петерс должен был сам ножом и топором

вспороть грудь охлажденного и вырвать ускользящее бурое сердце, алые розы легких и голубой дыхательный стебель, чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями и мечтал о зеленом королевском хвосте, о жемчужном зерне, о разливе золотой зари над просыпающимся миром.

А лета и зимы скользили и таяли, растворялись и гасли, урожай радуг повисали над далекими домами, молодые жадные метели набегали из северных лесов, двигали время вперед, и настал день, когда женщина с большими ногами покинула Петерса, тихо прикрыла дверь и ушла, чтобы покупать мыло и помешивать в кастрюлях другому. Тогда Петерс осторожно приоткрыл глаза и проснулся.

Тикали часы, в стеклянном кувшине плавал компот, и тапочки остыли за ночь. Петерс ощупал себя, пересчитал пальцы и волосы. Мелькнуло и улетело сожаление. Тело его еще помнило глушь пролетевших лет, тягучий сон календаря, но в глубине душевной мякоти уже оживало, приподнималось с лежанки, встряхивалось и улыбалось что-то давно забытое, молодое что-то и доверчивое.

Старый Петерс толкнул оконную раму — зазвенело синее стекло, вспыхнули тысячи желтых птиц, и голая золотая весна закричала, смеясь: догоняй, догоняй! Новые дети с ведерками возились в лужах. И ничего не желая, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни — бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой — прекрасной, прекрасной, прекрасной.

О РАССКАЗАХ Т. ТОЛСТОЙ

Что привлекает меня в рассказах Татьяны Толстой? Если отвечать на этот вопрос коротко, то, во-первых, прямой и трезвый взгляд на жизнь. Радость узнавания мира, понимания его, которая всегда есть в ее героях, не бывает легка и бездумна, — напротив, дорога к ней лежит через трудные порой откровения, через столкновения святой простоты детства с жестокой сложностью взрослой жизни, где есть разочарования и утраты.

Героями рассказов Т. Толстой часто оказываются дети и старики. К примеру, в «Свидании с птицей» на глазах у маленького Пети умирает его дедушка: «Птица Сирин задушила дедушку. Никто не уберется от судьбы. Все — правда, мальчик. Все так и есть». Так безжалостно звучит в рассказе мысль о смерти.

Но сила авторского слова в том, что, даже говоря о смерти, оно утверждает жизнь. Прекрасно и точно передается ощущение ребенка, открывающего реальное чудо окружающего мира: «Он раньше жил себе просто, строгал палочки, копался в песке, читал книжки с приключениями; лежа в кровати, слушал, как поют, беспокоятся за окном ночные деревья, и думал, что чудеса — на далеких островах, в попугайных джунглях или в маленькой, суживающейся книзу Южной Америке, с пластмассовыми индейцами и резиновыми крокодилами. А мир, оказывается, весь пропитан таинственным, грустным, волшебным, шумящим в ветвях, колеблющимся в темной воде. По вечерам они с мамой гуляют над озером: солнце садится за зубчатый лес, пахнет черникой, еловой смолой, шишки золотятся в вышине. Вода в озере кажется холодной, а попробуешь рукой — так даже горячая».

Здесь чувствуется даже некоторый налет романтического отношения к жизни — тут вам и индейцы, и крокодилы, и Южная Америка, — несовместимый вроде бы с «фирменным» реализмом и трезвостью Татьяны Толстой. Но флер романтический тут не случаен: он от сожаления, от грустной иронии. Ведь индейцы-то пластмассовые, крокодилы резиновые, а вот озеро и

лес настоящие, и смерть бабушки тоже, увы, настоящая, пусть даже и предстает она в потрясенном воображении мальчика в виде страшной птицы по имени Сирин. И свидание с ней, с птицей Смерти, — это свидание с реальной, настоящей жизнью, такой, какая она есть на самом деле.

Т. Толстая пишет жестко, скупно, опровергая все наши невольные стереотипы так называемой женской прозы. Она пишет действительно для того, чтоб высказаться, то есть сказать что-то свое, с полной ответственностью за это высказываемое, в ее речи нет слов необязательных, вялых, не наполненных сутью, пустых. Это качество, которое сплошь присуще Татьяне Толстой, я назвал бы чувством достоинства собственного слова. Кстати сказать, без этого чувства и писателем-то настоящим быть невозможно.

Другое счастливое качество Т. Толстой — это удивительное ощущение времени как чего-то материального, осязаемого, густого. В одном из лучших, на мой взгляд, рассказов сборника — «Милая Шура» — говорится об одинокой старой женщине, доживающей свой век в коммуналке, вспоминающей трех своих мужей и одну мимолетную любовь к «настоятивому, но небогатому» Ивану Николаевичу, который поразил когда-то сердце Александры Эрнестовны, милой Шуры. Рассказ, как принято у нас называть такого рода вещи, камерный. Но замкнутое его пространство чудесным образом раздвигается, увеличивается, благодаря тому самому, свойственному Т. Толстой, особому ощущению времени.

Оно, это ощущение, и в образах: «Время течет, и колышет на спине лодку милой Шуры, и плещет морщинами в ее неповторимое лицо». И в удачно найденных деталях, когда, например, Иван Николаевич, «невидимый, но беспокойный», в белом кителе шагает там в Крыму, по пыльному перрону, а сквозь него «проходят», не замечая, уже из другого времени «красивые мордастые» девушки в брюках, пареньки, «оплетенные наглым транзисторным ба-ба-дубаканьем», бабки «в белых платочках», старички в негнущихся синтетических шляпах, все они идут «насквозь, напролом, через Ивана Николаевича, но он ничего не знает, ничего не замечает, он ждет, время сбилось с пути, за-

вязло на полдороге, где-то под Курском, споткнулось над соловьиными речками, заблудилось, слепое, на подсолнуховых равнинах».

По правде сказать, далеко не многим пишущим, и не только из числа молодых, удается столь предметно показать ту самую «связь времен», про которую мы так часто вспоминаем, но далеко не всегда можем достаточно внятно сказать, что же это такое.

Всякая деталь у Т. Толстой точна и выразительна. Хотя, впрочем, деталь она и есть деталь. Одних лишь деталей мало для художественного произведения. Кроме точного, выразительного и, хочется сказать, чувственного рисунка времени, в том же рассказе «Милая Шура» есть не менее важное и, пожалуй, решающее достоинство — он исполнен любви и сострадания к этой никому не нужной ископаемой, Александре Эрнестовне. Она ведь, будем правдивы, отнюдь не является прямым олицетворением революционного прошлого или яркой носительницей народных традиций и устоев. А все-таки, как сказал бы Андрей Платонов, и без нее народ не полный. В этом всегда заключалось благородство русской литературы, которая была способна видеть в каждом человеке человека и любить его «просто так», а не за какие-то заслуги.

Татьяна Толстая любит своих героев: и милую Шуру, и Петерса, и Зою («Охота на мамонта»), и дядю Пашу («На золотом крыльце сидели...»), и Соню («Соня»), и других, которых и любить-то вроде бы не за что. Но автор не боится встать рядом с ними, взглянуть на них не свысока, их же глазами посмотреть вокруг, переболеть их болью, почувствовать их беду, разделить ее с ними. А переболев, перечувствовав и перестрадав, найти и показать драгоценную радость существования, открыть во всякой на первый взгляд никчемной и бесполезной судьбе высшее счастье человеческой жизни как таковой. Человек же зачастую, прожив целую жизнь тоскливо и безрадостно, так и уходит, не поняв, какое счастье вышло на его долю. Вот эта мысль — основная в рассказах Татьяны Толстой. Вокруг нее все строится: и сюжет, и герои, и детали.

Конечно, нельзя сказать, что все это находится в идеальном, гармоническом соответствии друг с другом. Есть несколько на-

думанные сюжеты: «Река Оккервиль», «Чистый лист». Есть и неудачные, по-моему, сравнения и пассажи вроде следующего: «...глядели, как льется через узкое жерло воронки постное тяжелое масло, густое, как тоска, бесконечное и вязкое, как пески аравийских пустынь». Тут все чересчур красиво. И если идти по этому пути, то постное масло можно сравнивать еще много с чем, бесконечным и вязким...

Впрочем, излишняя красивость, наверное, грех не самый тяжкий и со временем искоренимый. Я думаю, что он идет от того, что Татьяна Толстая, когда пишет, сама получает удовольствие и наслаждение от своего текста, а не только ее читатель. И это замечательно. Мы давно устали от нудных профессионально-вымученных повествований. Литература, как и жизнь, это, в конце концов, праздник, в чем убеждает нас своими рассказами Татьяна Толстая.

А. МИХАЙЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Любишь — не любишь	3
Река Оккервиль	16
Милая Шура	29
«На золотом крыльце сидели...»	40
Охота на мамонта	49
Круг	61
Чистый лист	74
Огонь и пыль	96
Свидание с птицей	110
Спи спокойно, сынок	125
Соня	136
Факир	147
Петерс	169
<i>А. Михайлов. О рассказах Т. Толстой</i>	<i>187</i>

Толстая Т. Н.

Т 52 На золотом крыльце сидели... / Послесл. А. Михайлова. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 191[1] с., ил. — (Молодые голоса).

55 к. 65 000 экз.

Татьяна Толстая известна читателям по рассказам, публиковавшимся в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Аврора» и др. Книгу рассказов молодой писательницы отличают острое чувство детали, умение охватить в рамках небольшого произведения не одно событие, но целую человеческую судьбу. Герои Татьяны Толстой — люди непростых и несхожих судеб.

Т 4702010200—097
078(02)—87 135—87

ББК 84Р7

ИБ № 5029

Татьяна Никитична Толстая

НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...

Зав. редакцией **С. Рыбас**

Редактор **Г. Рой**

Художник **Г. Ешков**

Художественный редактор **Т. Погудина**

Технический редактор **Н. Носова**

Корректоры **В. Назарова, И. Тарасова**

Сдано в набор 08.10.86. Подписано в печать 03.03.87. А00985. Формат 70×108¹/₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Условн. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 8,71. Учетно-изд. л. 8,7. Тираж 65 000 экз. Цена 55 коп. Заказ № 2076.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

55 коп.

Татьяна Толстая

„На золотом крыльце сидели...“

Родилась и выросла в Ленинграде. Окончила отделение классической филологии Ленинградского университета. Первый рассказ Татьяны Толстой был опубликован в журнале «Аврора». В дальнейшем ее рассказы печатались в «Новом мире», «Октябре», «Авроре», «Неве»...

Участница VIII Всесоюзного совещания молодых писателей.

